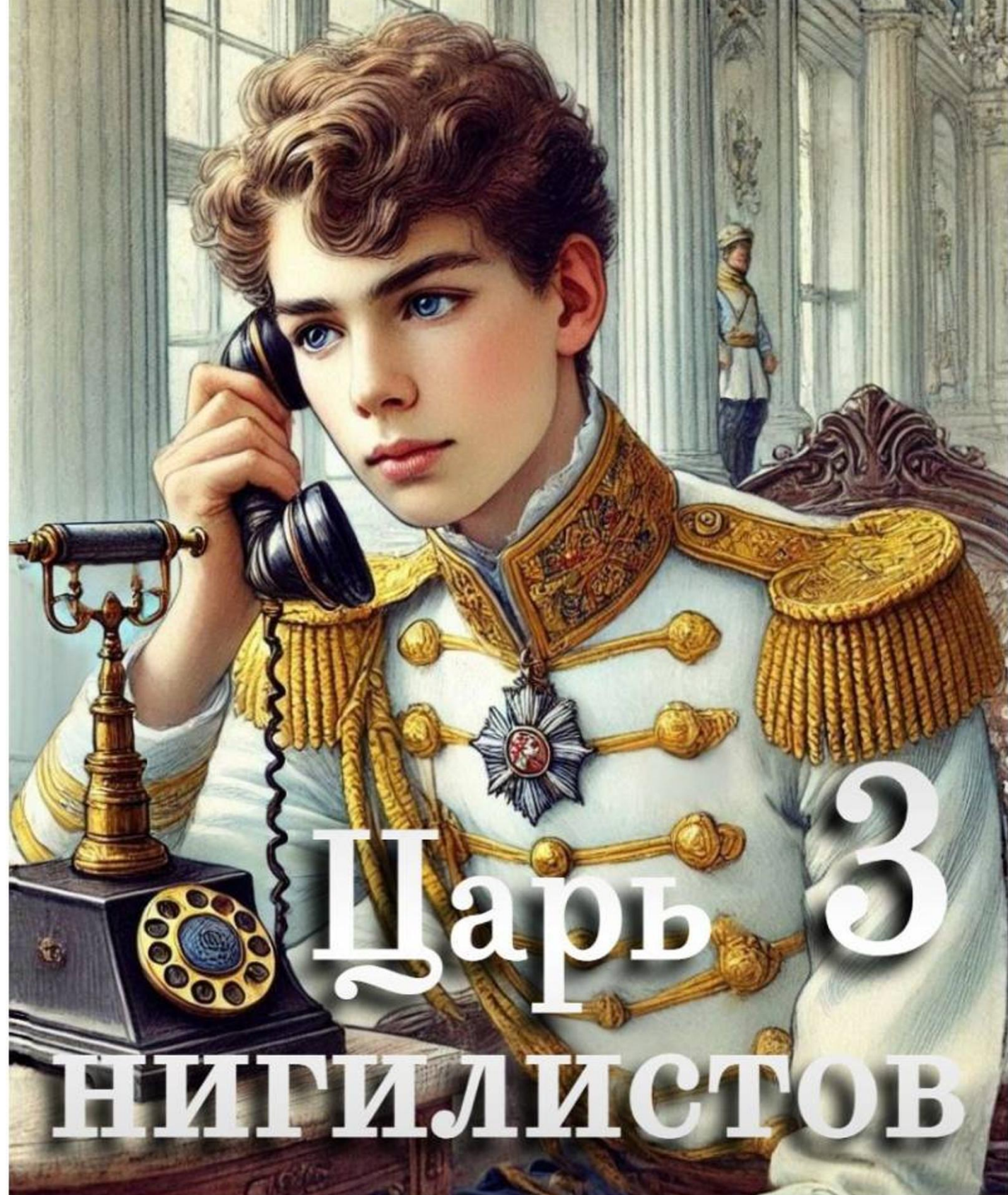


Олег Волховский



Царь Э
НИГИЛИСТОВ

Олег Волховский

Царь нигилистов - 3

«Автор»

2026

Волховский О.

Царь нигилистов - 3 / О. Волховский — «Автор», 2026

Время идет, Великий князь Александр Александрович взрослеет, скоро ему четырнадцать. Становятся серьезнее и его проекты. О нем пишут, им восхищаются. С ним начинают считаться. Но чего это ему стоит! Чем больше усилий он прилагает, чтобы изменить окружающую действительность, тем жестче ее сопротивление, тем больше непонимания и конфликтов, даже с самыми близкими людьми. И тем в большей он опасности...

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	25
Глава 5	33
Глава 6	41
Глава 7	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Олег Волховский

Царь нигилистов - 3

Глава 1

– Лошадь – существо крайне непредсказуемое, – вмешался Саша. – Ну почему они не боятся грома пушек в бою, но шарахаются от безобидных велосипедов?

– Боевых лошадей тренируют для сражений, – сказал папá. – Обычным выдержка не требуется.

– Кони наших гувернеров вели себя спокойнее, – заметил Саша. – Генералы Зиновьев и Гогель, полковники Казнаков и Рихтер – все офицеры. Реакцию гражданской лошади мы с Никсой никак не могли предугадать.

– Зиновьев докладывал, что их лошади тоже пугались, – заметил царь.

– Не настолько! – сказал Никса.

– Даже близко не в такой степени! – поддержал Саша.

Интересно, докладывал ли Зиновьев о том, что они отпускают драгоценных царских отпрысков на сто шагов вперед?

– Иначе бы им пришлось отставать и отпускать нас вперед одних, – рискнул Саша.

Никса понял линию защиты и возражать не стал.

– Они же не могли на это пойти как люди ответственные, – продолжил Саша.

– Конечно, – кивнул Никса.

– А если мы не могли предвидеть, что лошадь графа понесет, никакой нашей вины в этом нет, – добавил Саша. – Это типичное невиновное причинение вреда, за которое не может быть никакой ответственности.

Царь посмотрел с интересом.

– «Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без всякой со стороны учинившего оное неосторожности, не считается виною», – процитировал Саша. – «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», раздел первый, глава первая, отделение первое, пункт пятый.

– Настольная книга, – прокомментировал Никса.

– Наизусть выучил? – поинтересовался царь.

– Не весь, – признался Саша. – Но общую часть прочитал, а остальное просмотрел. И нигде нет запрета кататься на велосипедах по Александровскому парку и заезжать в Китайскую деревню. Более того, велосипеды там вообще не упоминаются.

– Да и вред небольшой, – заметил Никса.

– Все живы, – кивнул Саша.

– Еще бы кто-то погиб! – возмутился папá. – Только ты лукавишь. Не зря уводишь в сторону, потому что прекрасно все понимаешь. Могли вы предвидеть. По поведению лошадей воспитателей.

– Саша вообще не помнил Китайскую деревню, – заметил Никса, – и никак не мог предположить, что там есть лошади.

– А ты? – спросил царь.

– Я мог, – кивнул Никса. – Ну, может быть, нам стоило ехать медленнее.

Курс Никсы на частичное признание вины показался Саше несколько преждевременным. Можно было совсем отбиться.

– Неизвестно, на что лошади реагируют, – заметил Саша. – Ну кто сказал, что на скорость?

– У Никсы все-таки побольше совести, чем у тебя, – сказал папá.

– Конечно, вины за нами нет, упрекнуть нас не за что, и вообще это объективное вменение, – возразил Саша. – Однако я вовсе не хочу, чтобы граф понимал нас недобрым словом, так что совершенно не против того, чтобы компенсировать ему ущерб. Мы с Никсой договорились по пятьдесят рублей скинуться.

– Алексей Константинович вообще сказал: «Не стоит беспокойства», – заметил Никса.

И тут пазл в голове Саши сложился и засиял, как неоновая реклама.

Граф... Алексей Константинович... Флигель-адъютант... Богатырь со светлыми усами...

– А его фамилия не Толстой? – спросил Саша.

– Конечно Толстой, – кивнул Никса. – Ты его не узнал?

– Забыл, – сказал Саша. – Только сейчас осенило. Вау!

Царь поморщился от слова «вау!»

– Что тебя так восхитило? – спросил он.

– Как что? – удивился Саша. – Это же Алексей Константинович Толстой! Поэт, писатель, один из авторов Козьмы Пруtkова и еще кучи классных вещей!

– Пока еще служит, слава богу! – заметил царь. – Не ушел окончательно в писаки.

Саше захотелось вернуть что-то вроде: «Папá, ты неправ!»

Но он решил не усложнять положение.

– А можно к нему на чай напроситься? – мечтательно спросил он. – Он же там гостит в Китайской деревне? Грех не воспользоваться случаем, чтобы познакомиться с таким человеком. Он же не должен быть на нас в обиде. Мы не сбежали, извинились, ландолет поднять помогли. Хотя он бы и без нас справился.

– Еще бы вы сбежали! – бросил царь.

– Если мы ему сто рублей дадим на ремонт, он не оскорбится? – спросил Саша.

– Нет, если с извинениями, – сказал папá. – Впрочем, я сам.

Царь задумался, закурил сигару.

– В Китайскую деревню на велосипедах не ездить, – наконец, сказал он. – Если в парке видите лошадь – затормозите и сойдите с велосипеда, и закройте его собой, чтобы лошадь не испугалась. Еще один такой эпизод – и будете на гауптвахте. Оба!

– Здесь есть гауптвахта? – спросил Саша, когда они с Никсой возвращались от папá.

– В Царском селе, в городе, – сказал брат. – Там стоят гусарские полки, это за Екатерининским парком. Там, кстати, Лермонтов сидел.

– Русский писатель без этого не может, – усмехнулся Саша. – Иначе он не писатель, а пропагандист на зарплате.

– Зарплате?

– Ну, на жалованье. «На смерть поэта»? Его вроде сослали?

– Нет, не за это. Пришел на торжественный развод караула с очень короткой саблей. Дядя Михайло, дедушкин брат, дал ее поиграть дяде Низи и дяде Мише, они тогда были еще маленькие. Но Лермонтова отправил на гауптвахту. На 15 суток.

– Историческое место, – сказал Саша.

– Желаете посетить?

– Ну-у, – протянул Саша, – я, в общем-то, обойдусь, а тебе полезно. Чтобы десять раз подумал, прежде чем сажать кого-то в тюрьму. Кстати, а как в Китайской деревне оказался Зиновьев?

– Очень просто, – сказал Никса. – Он занимает один из домиков.

В воскресенье Саша получил письмо из Москвы от Склифосовского. Вырастить туберкулезную палочку у Николая Васильевича тоже не получалось, зато статьи взял питерский

«Военно-медицинский журнал». Понятное дело по рекомендации Пирогова. Одна статья была посвящена клеткам Пирогова у больных золотухой и гипотезе о том, что золотуха и туберкулез – две формы одного заболевания. Вторая была более рискованной, поскольку рассказывала о туберкулезной бактерии и объявляла именно ее причиной болезни.

Публикация ожидалась в начале ноября.

Ситуация с европейскими журналами была хуже, но тоже не провальной.

«Ланцет» обе статьи благополучно завернул, зато Сашины переводы взял совсем новый, основанный в прошлом году «Британский медицинский журнал». Что радовало. Все-таки, как это хорошо, когда свобода прессы.

Старые медицинские издания Франции тоже решили переждать и не хвататься на сенсацию, зато краткий пересказ обеих статей обещалась напечатать «Gazette médicale de Paris». Не блестяще, но тоже неплохо. Саша оптимистично решил, что это только начало.

Больше всего Николай Васильевич восторгался тем, что выжимку из статей взяла «Общая венская медицинская газета». Поскольку Вена с точки зрения медицины впереди планеты всей и вообще центр Вселенной.

Саша поостерегся заранее поздравлять с грядущим успехом и написал просто: «Ждем!»

Его советы из Питерской лаборатории до Склифосовского дошли, и тот отчитался, что работает.

То есть все складывалось как нельзя лучше.

Саше по-прежнему хотелось в город. Он даже придумал себе цель.

– Никса, а здесь есть книжные магазины? – спросил он после воскресной службы.

– Здесь есть библиотека, – сказал Никса. – Не помнишь ее?

– Нет, – вздохнул Саша.

– Не удивительно, – заметил брат. – Ты не был там завсегдатаем. Это в Александровском дворце.

От церковного флигеля до Александровского дворца без проблем дошли пешочком. Слава богу без Зиновьева и Гогеля, правда, с Рихтером.

Дворец был построен в классическом стиле: желтого солнечного цвета, с множеством белых колонн, романскими арками и балюстрадой по краю крыши. Библиотека располагалась на первом этаже, в правом крыле.

Огромные шкафы красного дерева, толстые книги в кожаных переплетах, шелковые шторы в белых волнах фестонов, наборный паркет на полу.

Пожилой библиотекарь с проседью в волнистых волосах, живыми глазами и ямочкой на подбородке пригласил их к столу и выдал каталог, тоже огромный, толстый и переплетенный в кожу.

– Это Флориан Антонович Жиль, – представил Никса. – Он еще заведует Эрмитажем.

– Его Императорское Высочество, наверное, меня помнит, – предположил Жиль, демонстрируя явный французский акцент.

И продолжал стоять в полупоклоне.

Саша естественно ничего не помнил.

– Садитесь, ради Бога, Флориан Антонович, – пригласил Саша и с упреком взглянул на Никсу.

Брат кивнул и изящным жестом указал Жиллю на стул.

– Прикажете подавать чай? – спросил библиотекарь.

Никса кивнул.

– Давайте, давайте! – сказал Саша.

И на круглом, покрытым тяжелой скатертью столе возник сияющий самовар и чайный сервиз с позолотой.

– Вы француз? – спросил Саша Жилля.

– Швейцарец, – улыбнулся тот.

– Вы нас не выдавайте, – попросил Саша. – Господин Гримм приказал нам говорить с посторонними только на иностранных языках, но моего французского пока хватает только для рынка, но не для обсуждения книг.

– Скромничаешь, – заметил Никса. – Беранже дочитал?

– Да, так что смогу купить цветочки у гризетки и спросить дорогу в Париже, – сказал Саша.

И погрузился во французскую часть каталога.

Главным образом, она состояла из любовных романов по большей части неизвестных Саше авторов. Но встречались и знакомые имена: Дюма, Стендаль, Жорж Санд и Виктор Гюго. Саша решил не выпендриваться, совместить приятное с полезным и взял «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».

Он живо помнил библиотеки брежневской эпохи. Книги там были жутко потрепанные, неоднократно переплетенные и распадались на страницы в руках. С Дюма было совсем туго, на фантастику записывались. Например, на «Голову профессора Доуэля» стояла очередь в сотню человек, так что Саша плюнул и так и не прочитал.

Дюма хранился в святой святых: кабинете директрисы. Это был новенький, почти нетронутый красный двенадцатитомник. В сию тайную комнату Саша был допущен после того, как мама дала на лапу библиотекарше. И Саша смог прочитать все 12 томов, один за другим.

Существовал ли в СССР Дюма в оригинале, Саша не знал. Вальтер Скотт на английском точно существовал: адаптированный.

– А сколько времени можно книги держать, Флориан Антонович? – спросил Саша. – А то я по-французски читаю медленно.

– Сколько хотите, – улыбнулся библиотекарь.

– А портить их карандашными пометками можно?

– Вам можно, Ваше Высочество, – кивнул Жилль.

– Здорово! – искренне восхитился Саша.

И перешел к немецкому разделу.

Взял сборник Гейне и «Фауста». И то, и другое с его знанием немецкого казалось немейной наглостью, но переводы он немного помнил: и Левика, и Пастернака.

В русском разделе Саша нашел первый перевод Рабле 1790 года.

– Под подушкой будешь прятать? – поинтересовался Никса. – На русском же!

– Мне не впервой, – парировал Саша.

– Стоит прочитать? – спросил брат.

– Не то слово! Не пожалеешь!

Никса вопросительно посмотрел на Рихтера.

– Стоит, – сказал тот. – Но на французском.

И Никса взял его в оригинале.

– Я всегда знал, что ты монстр, – прокомментировал Саша.

И взял легендарный учебник математики для инженерного училища, учебник по физике Ленца и опус Грота о спряжении глаголов, помня о том, что, если у препода есть учебник, всегда лучше сдавать по нему.

Залез в юридический раздел. Выбрал конституцию Бельгии на французском, английские конституционные акты на английском и конституцию Дании.

– На немецком, – вздохнул Саша. – Никса, поможешь мне перевести?

Брат проследил за Сашины пальцем, застывшим под ее названием в каталоге.

– А! – сказал Никса. – Как говорил дедушка: «Я понимаю, что такое монархическое и что такое республиканское правление, однако не могу взять в толк, что такое конституционное правление, для него нужен фокусник, а не государь».

– Вот и я не понимаю, – признался Саша. – Но хочу понять. Источники власти разные. У монарха: наследственное право, а у парламента – народ. Как они уживаются друг с другом в одной системе? Если сильнее монарх – конституционная монархия быстро вырождается в диктатуру. Яркий пример: Наполеон Третий. И что было баррикады городить? Чтобы посадить на трон императора?

– Если сильнее парламент, – продолжил Саша, – конституционный монарх быстро начинает играть исключительно декоративную роль и работать подставкой под корону и чтецом манифестов премьер-министра. И в таком случае, непонятно, зачем он вообще нужен. И народ начинает задумываться о том, что можно бы обойтись и без монарха, ибо дешевле.

– Ну, допустим, символ нации, – предположил Никса, – верховный арбитр, моральный авторитет. Ты мне говорил, что государь должен стоять над схваткой.

– Стоять – это не идти по канату, одновременно жонглируя горящими факелами, рискуя поджечь все вокруг. Я хочу понять, есть ли вообще в этой системе точка равновесия. Можно ли спокойно сидеть в кабинете за письменным столом и вырабатывать стратегию, а не висеть над сценой?

– Можно сойти с каната и сесть в зал, – тихо сказал Рихтер.

– Можно, – кивнул Саша. – Вариант «ленивые короли». Смотрите выше.

– И потому ты решил проштудировать монархические конституции, – резюмировал Никса.

– Ты, как всегда прав, – сказал Саша.

И обратился к библиотекарю:

– Дайте еще американскую до кучи. Желательно на английском.

И перевел взгляд на Никсу.

– Я ее давно не пересказывал. Надо освежить в памяти. Понимаешь, у президента похожие проблемы, и он может стать декоративной фигурой или превратиться в диктатора. А Соединенные штаты никогда не превращались в диктатуру. Наверное, секрет есть. Я хочу понять, в чем дело.

Саша перевел взгляд на Жилля.

– И давайте еще акт Павла Петровича о престолонаследии.

Никса посмотрел вопросительно.

– Первый российский подписанный конституционный акт, – пояснил Саша. – И ведь никто не решился нарушить.

– Не много ли? – усомнился Рихтер.

– Саша читает по книге в день, – сказал Никса.

– В два дня, – признался Саша. – Не самых толстых. На каникулах. И по-русски. Сейчас будет медленнее.

Флориан Антонович ушел за книгами, и они остались втроем.

Здесь надо заметить, что вечером они были званы на чай к графу Алексею Константиновичу. Письмо с извинениями за детей папá написал ему сам. И отправил с лакеем вместе с покаянным стольником от великих князей.

– Никса, расскажи мне все, что ты знаешь о Толстом, – попросил Саша. – Я его почти не помню.

– Сын графа Константина Толстого, – начал Никса. – Потомка Петра Андреевича Толстого.

– Того, который уговорил вернуться в Россию царевича Алексея?

– Да, – кивнул Никса.

Саша поморщился.

– И потомок графа Кирилла Разумовского, – продолжил Никса.

– Того самого? – спросил Саша. – Который пел с придворными дьячками?

– Нет, это Алексей. Кирилл – его младший брат.

– Понятно, донской казак?

– Запорожский, – поправил все знающий Никса.

– После казаков там несколько поколений сменилось, – заметил Рихтер. – Кирилл Разумовский учился за границей и, вернувшись, возглавил Академию наук. Алексей Константинович – его внук, по-моему.

– Правнук, – кивнул Никса, – сын Анны Алексеевны Перовской.

– Стоп! – прервал Саша. – Как ты сказал? Перовской?

– Да, – кивнул брат. – Анны Перовской. Что тебя так удивило?

– Никса, что за род Перовские?

Никса перевел взгляд на Рихтера.

– Это дети Алексея Кирилловича Разумовского, – сказал Оттон Борисович. – У него под Москвой имение Перово. Отсюда фамилия.

Саша привык к тому, что Перово – это район Москвы. Да, города растут быстро.

– А почему не Разумовские? – поинтересовался Саша.

Рихтер посмотрел на Никсу.

Оттон Борисович опустил глаза и вздохнул.

– Официально они воспитанники, – сказал брат.

– Понятно, – усмехнулся Саша, – бастарды значит. Давай уж называть вещи своими именами. А мать кто? Прекрасная свинарка?

– Мещанка, – сказал Никса. – Я не помню фамилию.

– А нет ли в роду Перовских женщины по имени «Софья»? – спросил Саша.

Глава 2

– Зачем тебе? – удивился Николай.

– Где-то я слышал это словосочетание «Софья Перовская», – объяснил Саша.

Рихтер задумался.

– Есть, – наконец, сказал он. – Одна из сестер Анны Алексеевны. Но она давно княгиня Львова.

– А еще? – не унимался Саша.

Оттон Борисович пожал плечами.

– Я не знаю, – признался Никса.

Их разговор прервало возвращение библиотекаря. С ним был лакей, он и нес книги, которые водрузил на стол двумя симпатичными стопочками.

– Пустили козла в огород, – прокомментировал Саша.

Когда в Перестройку книги появились в магазинах, он имел привычку спускать на них всю стипендию. Закупался где-нибудь в «Москве», «Прогрессе» или «Молодой гвардии», приносил домой сумками, складывал на стул перед креслом и с наслаждением просматривал одну за другой.

Но таких инкунабул с золотыми обрезами у него еще не было. Начал с французских и немецких, они были самыми старыми и роскошными, даже не в коже, а в сафьяне. Но насладившись обложкой и первыми страницами, почти сразу отложил: это будет работа, а не удовольствие.

И взялся за скромненький учебник Ленца.

За первую половину октября, выучив мерзкие золотники и фунты, на 4-5 по физике он уже вышел, так что пора было подавать записку про метрическую систему. Но что его ждет дальше? С механикой было все в порядке. Зато потом начиналась термодинамика, а в термодинамике у Ленца был теплород.

И Саша тяжело задумался о том, что же он будет делать с теплородом.

Честно говоря, про великого ученого он думал лучше.

– А у вас нет более современного учебника физики? – спросил он Жилля.

– Не-ет, – проговорил библиотекарь. – Это самый последний.

Тут Никса прыснул со смеху. Никакого отношения к Ленцу его веселье не имело. Брат читал Рабле на французском.

По дороге в Китайскую деревню Саша еще успел поспрашивать про Алексея Константиновича.

– «Мысли и афоризмы» Козьмы Пруткова изданы? – спросил он.

– Отдельной книгой нет, – ответил Рихтер, – но выходили в «Современнике» несколько лет назад.

– А «Проект о введении единомыслия в России»? – поинтересовался Саша.

– Что? – переспросил Никса. – «Введение единомыслия»?

– Ага, – кивнул Саша. – Проект. Вроде записки государю. Единомыслие – совершенно ведь необходимая вещь.

– Я не видел, – улыбнулся Оттон Борисович.

– Значит, путаю, – вздохнул Саша.

– Но остроумно, – заметил Никса.

– Еще бы! – сказал Саша. – Я был совершенно уверен, что это Козьма Прутков. А исторические романы граф пишет?

Никса пожал плечами.

– Пишет, – пришел на помощь Рихтер. – Точнее один роман. Даже читал отрывки в каких-то гостиных.

– Не из эпохи Ивана Грозного? – спросил Саша.

– Да, – кивнул Оттон Борисович.

– А название не помните?

Рихтер помотал головой.

– Ладно, я сам у него спрошу, – пообещал Саша.

– А еще Алексей Константинович увлекается спиритизмом, – сказал Никса.

– О! – усмехнулся Саша. – Буду знать.

– А воспитывал графа его дядя Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом «Антоний Погорельский», – добавил Рихтер. – Может быть, помните сказку «Черная курица, или Подземные жители»?

– Конечно, – кивнул Саша. – Про мальчика, который ничего не учил, но все знал.

Сказка неожиданно показалась актуальной.

– Погорельский написал эту сказку для племянника, – продолжил Оттон Борисович. – Говорят, что в детстве у Алексея Константиновича была уникальная память.

– Эйдетик? – спросил Саша.

– Что? – удивился Никса.

– Это не от слова «эйдос»? – предположил Рихтер. – «Образ»?

– Конечно, – сказал Саша. – Никса, учи греческий. Эйдетик словно фотографирует действительность и создает ее образ в памяти.

– Вот, например, Сашка, – заметил Никса, – который никогда не учил греческий, но знает.

– А кто такая Софи? – поспешил Саша перевести разговор на другую тему.

– Миллер Софья Андреевна, – сказал Рихтер. – Урожденная Бахметева. Они с графом...

– Живут вместе, – закончил Саша за замешкавшегося Оттона Борисовича.

Судя по всему, Алексей Константинович свято чтит традиции предков.

– А Миллер по мужу? – спросил Саша.

– Да, – кивнул Рихтер.

– А он жив? – спросил Саша.

– Да, но не дает ей развода.

– Мне она не показалась особенно красивой, – заметил Саша.

– Зато очень обаятельна и знает четырнадцать языков, – сказал гувернер.

– О Боже! – изумился Саша. – Клеопатра! Мне с моим плохим французским и никаким немецким остается только посыпать голову пеплом.

Граф уже вышел их встречать и ждал у входа в свой маленький китайский домик.

А Саша думал о его родственниках Перовских. Те или не те?

Они расселись за столом. Софья Андреевна разливала чай.

На прекрасную свинарку госпожа Миллер походила меньше всего: и не прекрасная, и не свинарка.

На столе присутствовало варенье, конфеты, мармелад и коломенская пастила.

– Мой брат ваш большой поклонник, граф, – начал Никса.

– Да! – кивнул Саша, утаскивая пастилу, которая восхитительно пахла яблоками. – «Многие люди подобны колбасам, чем их начиняют, то и носят в себе» – это гениально. Это все, что нужно знать о государственной пропаганде.

Толстой счастливо заулыбался.

– Вы читаете наши журналы? – спросил он.

– Иногда, – сказал Саша. – Козьму Пруtkова читал конечно. И некоторые ваши стихи мне очень нравятся. «Василий Шибанов» в первую очередь.

И тут Саша понял, что не успел спросить у Никсы с Рихтером, опубликовано это стихотворение или до сих пор ходит в списках.

Но Толстой был доволен.

– Только там концовка слишком однозначная, – заметил Саша. – Верность Василия Шибанова прекрасна, но и роль Курбского в истории к измене не сводится. Он же не просто так в Литву сбежал. Если полководцу грозит казнь за военные поражения, от него трудно ждать преданности. Не справился? Сними, поставь другого. В конце концов, это не только его вина, это твоя ошибка. Кто людей подбирает?

– Покойный государь тоже так считал, – задумчиво проговорил Толстой.

– Не сомневаюсь, – сказал Саша. – Чем больше узнаю о дедушке, тем больше его уважаю. Казнить за неудачи – это форма самооправдания: я всегда прав, а они – изменники.

– Иоанн Васильевич считал, что поражение под Невелем – следствие сговора с врагом, – заметил граф. – У Курбского был численный перевес почти в четыре раза.

– Зависит от того, кто был в обороне, – сказал Саша. – И от рельефа. Так что всякое могло быть. Виновен Курбский или нет, но это первый русский либерал, первый человек, который заговорил о гражданских правах. Мое любимое: «Почто затворил свое царство, аки твердыню адову».

– «Почто, царь, отнял у князей святое право отъезда вольного и царство русское затворил, аки адову твердыню...», – уточнил Толстой.

– Я по памяти цитирую, – признался Саша.

– Вы читали переписку Грозного с Курбским, Ваше Императорское Высочество? – спросил граф.

– Конечно! – сказал Саша. – Как это можно не читать? Это же абсолютный мастрид!

– Саша очень любит англицизмы, – заметил Никса.

– Мы поняли, – кивнул Алексей Константинович. – Между прочим, в последние годы царствования вашего дедушки, тоже было сложно выехать.

– Хорошо, что вы об этом сказали, – вдохнул Саша. – Я не знал.

И посмотрел на Рихтера.

– Да, – кивнул Оттон Борисович. – Цены на паспорт для выезда на лечение подняли до ста рублей.

– А просто для выезда за границу – до 250-ти, – уточнил граф.

– Ничего себе! – сказал Саша. – Это же годовое жалованье титулярного советника!

– А одному богатому курляндцу, просившемуся на воды, государь Николай Павлович объявил, что и у нас в Отечестве воды есть, – добавил Толстой.

– Он и уволить со службы мог, – сказала Софи. – Как сына князя Долгорукова, который пытался выехать за границу для поправления здоровья: «совершенно разрушенного».

– Остроумно, – хмыкнул Никса. – Как можно служить с совершенно разрушенным здоровьем?

– Логично, конечно, – согласился Саша. – Но жестоко. Если ты строишь твердыню адову на земле, жди молнии животворящей с неба. Самое обидное, что тебе забудут все то хорошее, что ты сделал до этого. И в историю войдешь совсем не тем, кем бы тебе хотелось.

– Не забудут! – сказал Никса. – Ни свода законов, ни усмирения холерного бунта, ни первой железной дороги!

– Мне бы тоже этого хотелось, но... Ладно не будем об этом! Вернемся к Иоанну Грозному. Честно говоря, его ответы мне не нравятся. «Я – царь, а значит, мне все можно» – единственная мысль, которую я там уловил.

– Скорее: «всякая власть от бога», – заметил Рихтер. – А потому противится царю, значит противится богу.

– От бога? – спросил Саша. – Конечно, все от бога. Но еще от купцов новгородских, которые позвали Рюрика свои капиталы защищать.

– Капиталы защищать? – спросил Никса.

– А тебе никогда не казалась странным, что Новгород позвал Рюрика «княжить»? – спросил Саша. – «Придите и владейте нами»? «Приди с дружиной и защити нас от врагов и разбойников» мне кажется более реалистичным. Рюрика со товарищи просто наняли, как всякое наемное войско. И только его потомки все поставили с ног на голову. Вече еще долго с князем не особенно считалось. Пока Иван Третий не покорил Новгород. И пока Иван Грозный не разорил его. Так что с наемниками связываться чревато: чья армия – того и власть. Надеюсь, я никого не обидел? В этой комнате Рюриковичей нет?

– Видимо, нет, – сказал Толстой. – Но Иоанн Васильевич обосновывал святость своей власти не тем, что он потомок Рюрика, а тем, что он потомок Владимира Святого.

– Притянута за уши, по-моему, – сказал Саша. – У нас не теократия. В любом случае, Романовы – выборные, и аргументы Ивана Грозного нам совсем не подходят. Я сейчас набрал в библиотеке монархических конституций. Хочу понять, как монарх, источник власти которого наследственное право, может уживаться с парламентом, источник власти которого народ. Но источник власти нашей династии – тоже народ, точнее Земский собор.

– Вы сторонник конституции? – тихо спросил Толстой.

– Да, – кивнул Саша. – Зачем шепотом? Думаете, папá этого не знает?

– Саша везде говорит примерно одно и то же, – заметил Никса, – и папá, и мне, и на четвергах у Елены Павловны. Так что ни для кого ни секрет. Герцен уже написал.

– Да! Неужели «Колокол» не читаете? – удивился Саша.

– Там не было слова «конституция», – заметил Толстой.

– Конституция – не панацея, – сказал Саша. – Любую конституцию можно извратить так, что от ее ничего не останется, а можно вообще на нее наплевать и стать тираном, ничего в ней не меняя. Кстати, и выборы не панацея. Мне всегда было обидно за князя Пожарского, героя, который собрал ополчение вместе с Мининым, освободил страну от поляков, а потом вложил большие деньги в избирательную кампанию и проиграл Михаилу Романову – отроку без всяких заслуг.

– Нашему предку проиграл, – заметил Никса.

– Я помню и не оспариваю результатов выборов, – сказал Саша. – Но как так? Чем был плох Пожарский? Между прочим, Рюрикович.

– Пожарского боялись, – сказал Алексей Константинович.

– Как слишком сильного? – спросил Саша.

– Не только, еще как слишком честного: он не был замешан ни в сотрудничестве с самозванцами, ни в сотрудничестве с поляками.

– И избрали компромиссную фигуру.

– Не совсем, – сказал Толстой. – Тогда избирали не личность за ее заслуги, а род за заслуги рода. Романовых любили, и они были в родстве и с Иоанном Васильевичем через его первую жену Анастасию, и с Федором Иоанновичем. А про 20 тысяч рублей, которые потратил Пожарский для того, чтобы стать царем, видимо, клевета. Сам он вообще не выдвигал свою кандидатуру.

– Алексей Константинович! – сказал Саша. – Давайте вы нам будете русскую историю преподавать, а то у нас с Володи́ей ее отменили.

– Спасибо, – улыбнулся Толстой. – Но я никогда не пробовал себя в роли преподавателя, и сейчас служба отнимает много времени, и я еще пытаюсь писать.

– Как ваш «Князь Серебряный»? – спросил Саша.

Толстой посмотрел удивленно.

– Откуда вы знаете? – спросил он.

– Мне говорили, что вы пишете исторический роман из эпохи Ивана Грозного, – улыбнулся Саша. – И где-то я слышал, что он называется «Князь Серебряный». Это не так?

– Я еще не решил, – сказал Толстой. – Но... возможно...

– В любом случае претендую на томик с подписью, как только выйдет, – сказал Саша. – Как бы ни назывался. Когда ждать?

– Года через два-три... наверное...

– Не тратьте время на службу, – сказал Саша. – Вы – большой писатель. О том, что вы были когда-то флигель-адъютантом, лет через сто вспомнят одни историки литературы. А Козьму Пруткову и «Князя Серебряного» будут читать многие.

– Государь меня не отпускает, – пожаловался Толстой.

– Папá не понимает, что такое четвертая власть, – пожал плечами Саша. – Даже великие люди – всего лишь дети своего времени.

– Четвертая власть? – переспросил Никса. – Это что-то новое. Ты раньше об этом не говорил.

– Не успел, – сказал Саша. – Три первые власти – это законодательная, исполнительная и судебная. Четвертая власть – это пресса. Именно журналисты в свободных странах – власти-тели дум. Но в условиях цензуры эту роль принимает на себя литература и литературная критика. Ну, где это видано на Западе, чтобы за посещение литературных вечеров по пятницам кто-то на каторгу загремел?

– Петрашевцев обвиняли не только в чтении письма Белинского, – заметил Толстой.

– Я знаю, – сказал Саша. – Давно мечтаю посмотреть материалы дела, доходили до меня слухи, что там есть признаки фабрикации. Как только прочитаю две сумки книг, которые сегодня набрал в библиотеке Александровского дворца, обязательно попрошу папá.

– Все, что вы говорите, очень лестно, – заметила Софья Андреевна Миллер. – Но Иван Тургенев сильнее, как писатель.

– Все-таки меня поражает, насколько женщины, даже умные, могут не понимать, кто рядом с ними, – сказал Саша. – И сказать будущему классику какую-нибудь гадость, например: «Ну, ты же не Достоевский»!

– Достоевский? – переспросила госпожа Миллер. – Осужденный по делу Петрашевцев? Он известен пока только романом «Бедные люди» и повестью «Белые ночи». Или вы кого-то другого имели в виду?

– Именно его. И он, насколько я знаю, прощен.

– Будущий классик? – спросила Софья Андреевна.

– Никаких сомнений, – сказал Саша.

– И Толстой? – усмехнулась Миллер.

– Конечно, – кивнул Саша. – А что касается Тургенева. Он мне подарил «Записки охотника» с подписью. Они у меня лежали некоторое время на столе, потом, когда меня окончательно заела совесть, я их перечитал. Написано, конечно, замечательно. Проходить в школе его, конечно, будут. Но эти описания погоды на три страницы! На три страницы, господа! Для меня это слишком медленно. Не пройдет и полвека, как читатели с трудом смогут выносить описания не то, что на три страницы, а на один абзац. И школьники будущего будут так же проклинать Тургенева, как они сейчас Вергилия проклинали.

– Вы там больше ничего не увидели, кроме длинных описаний, Ваше Высочество? – поинтересовалась Софья Андреевна.

– Увидел, – улыбнулся Саша. – Алексей Константинович, вы с Иваном Сергеевичем, говорят, лично знакомы. Его «Записки охотника» – это сознательный оммаж Радищеву?

Граф слегка побледнел.

– А ведь действительно, – проговорил Никса. – Я не замечал раньше.

– Вы имеете в виду «Путешествие из Петербурга в Москву»? – спросил Толстой.

– Конечно, – кивнул Саша. – Вам нечего бояться, граф. И там, и там герой путешествует: у Радищева из Петербурга в Москву, у Тургенева как охотник по лесам, полям и поместьям. И там, и там одна из главных тем: крепостное право. Но Радищев больше отвлекается на прочую социальную критику и политологию, а Иван Сергеевич на человеческие взаимоотношения и описания природы.

– Вряд ли, – сказал граф. – Тургенев целое лето охотился, а потом журнал «Современник» попросил его заполнить раздел «Смесь», где и были напечатаны рассказы из «Записок охотника».

– Ну, возможно, совпадение, – сказал Саша. – А текст «Путешествия» ему был известен?

– Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос, – признался граф.

– Конечно, конечно, – кивнул Саша. – Я понимаю. Думаю, к книге Тургенева начнут терять интерес, как только отменят крепостное право, потому что большая часть описанных ситуаций станет невозможна. А ваш «Князь Серебряный» еще долго проживет, Алексей Константинович, потому что тираны у власти никуда не денутся. И его будут читать и через сотню лет по своей воле, а не потому что учитель заставил. Так что пишите, и не тратьте время на придворную службу. Литература и есть ваша служба.

– Спасибо, – улыбнулся Толстой.

– Алексей Константинович, извините, а среди ваших родственников Перовских нет дамы по имени Софья? – спросил Саша.

Глава 3

- Есть Софья, – сказал Толстой. – Тетя Софи, сестра моей матушки.
- Княгиня Львова? – уточнил Саша.
- Да. Между прочим, вдова того самого князя Львова, который, будучи цензором, разрешил публикацию «Записок охотника» и был уволен.
- Боже мой! – поразился Саша. – Их хотели запретить?
- Да, – кивнул граф. – Вы же сами прекрасно находите параллели, Ваше Высочество.
- Тургенев сильнее Радищева как писатель, но много умереннее. И более полувека спустя. Было бы что запрещать!
- Граф пожал плечами.
- При всем моем уважении к дедушке, он иногда бывал не прав, – заметил Саша. – И при всем моем уважении к княгине Львовой – это не та Софья. Есть еще? Помоложе.
- Зачем вам? – спросила госпожа Миллер.
- Я где-то слышал это имя, – объяснил Саша. – Хочу понять, правильно ли запомнил.
- Толстой задумался.
- У меня был дядя Николай, он умер в прошлом году. А у него сын Лев, мой двоюродный брат. И у него есть маленькая дочка Соня. Моя двоюродная племянница. Но ей только пять лет.
- Софья Львовна Перовская, – проговорил Саша.
- Вы ее искали? – спросила Софи.
- Возможно, – кивнул Саша. – Алексей Константинович, можете мне о вашем кузене поподробнее рассказать?
- Лёва окончил Институт инженеров путей сообщения, служил в инспекции городских дорог, потом в лейб-гвардии адъютантом, вышел в отставку штабс-капитаном. Потом где только не служил: и по Почтовому ведомству, и по Таможенному. Сейчас вице-губернатор Пскова.
- То есть он сейчас в Пскове с семьей? – спросил Саша.
- Да, – кивнул Толстой.
- А где вы слышали про Софью Перовскую? – спросила Миллер.
- Саша пожал плечами.
- Мне казалось, что это какая-то писательница или актриса. Но, наверное, я перепутал. Кстати, о писателях. Думаю, и Радищев, и Тургенев впали в одно и то же заблуждение. Тургенев решил, что его весьма умеренную книгу пропустит цензура, потому что в правительстве один за другим формируются тайные комитеты по крестьянскому делу, а у нас ничего не тайна. Но хоть не арестовали.
- Задержали, – заметил Толстой, – Месяц на съезжей, два года ссылки в своем имении. Но формально не за книгу. Я говорил тогда с вашим батюшкой, и понял, что к Ивану Сергеевичу есть и другие претензии.
- Папá помог? – спросил Саша.
- Да, – сказал граф. – Я сразу смог передать Тургеневу книги. Посещение на гауптвахте было запрещено.
- И потом его вытащил, – заметила Софья Андреевна.
- Со съезжей?
- Из ссылки тоже, – сказала госпожа Миллер.
- Как? – спросил Саша.
- Ходатайствовал перед Дубельтом, управляющим Третьего отделения, и графом Орловым, начальником того же ведомства, – объяснила Софи.
- Больше всего помогла доброта вашего отца, – сказал Толстой.

– Значит есть смысл его просить, – решил Саша. – Если кого-то надо будет вытаскивать, пишите сразу мне. К сожалению короткие периоды истории, когда в России не было полит... политических заключенных, можно по пальцам пересчитать. А формально за что?

– Слишком восторженный некролог Гоголю, слишком частые поездки за границу, слишком много сочувствия к крепостным и лестный отзыв о нем Герцена, – объяснил Толстой.

– Саш, как бы тебя не пришлось вытаскивать, – заметил Никса.

– Да, ладно! – сказал Саша. – Перестройка же!

– Будем надеяться, – улыбнулся Никса. – А то пиши сразу мне.

– Так о Радищеве, – продолжил Саша. – Когда он напечатал в своей частной типографии не столь изысканное, зато довольно радикальное «Путешествие», думаю, он помнил о том, что Екатерина Алексеевна переписывалась с Вольтером и надеялся, что своего доморощенного Вольтера она не тронет. Но прабабке нашей при всем моем к ней уважении было важнее казаться, а не быть. Французский Вольтер был почитаем и обласкан, а русский уехал в Сибирскую ссылку. Я все надеюсь дожить до того момента, когда государь наш скажет: «Мы Вольтеров в тюрьму не сажаем».

– Доживешь, – сказал Никса.

Рихтер выразительно посмотрел на каминные часы.

– Еще минуту! – попросил Саша. – Софья Андреевна, мне про вас рассказывали, что вы знаете 14 языков.

– Да, – улыбнулась Софи. – Хотя не все одинаково.

– Итальянский?

– Да, – кивнула она. – Граф его тоже отлично знает.

– Мне нужен переводчик для «Декамерона», – сказал Саша. – Возможно, несколько переводчиков, поскольку труд огромный. И мне не хотелось бы отвлекать Алексея Константиновича от «Князя Серебряного», хотя, конечно, я бы был счастлив. Может быть, опубликовать отдельные новеллы в «Современнике»? В разделе «Смесь». Как вы думаете, это может заинтересовать Некрасова?

– Возможно, – сказал Толстой.

– Скорее, это заинтересует цензуру, – заметила госпожа Миллер.

– Ну, там же не все такое, – возразил Саша. – Гениальную новеллу про то, как загонять дьявола в ад, можно на потом оставить.

Софи усмехнулась.

– Подумаем, – сказал граф. – А «Божественную комедию» вы не планируете переводить?

– Конечно, планирую. Но это очевидный героизм. Я, правда, грешным делом прочитал только «Ад», но, может, тогда дочитаю. Все-таки у Данте слишком много современных ему реалий. Перевод придется снабжать примечаниями по объему равными переводу: какой там у него забытый папа и король, на каком круге ада. Тогда это была публицистика. А мы читаем как шедевр на все времена. Но если найдется герой, который за это возьмется, буду рад.

– Есть перевод Дурова, – заметил Толстой. – Только очень неполный.

– Петрашевца? – уточнил Саша.

– Да, – кивнул граф. – Сергея Федоровича.

– Это где «в лесе том» и «пантер полосатый»? – спросил Саша.

– Вы его читали? – удивился граф.

– Ну, как можно такое не читать? – улыбнулся Саша.

И процитировал:

*– На пол-пути моей земной дороги
Забрел я в лес и заблудился в нем.
Лес был глубок; звериные берлоги*

*Окрест меня зияли. В лесе том
То тигр мелькал, то пантер полосатый,
То змей у ног, шипя, вился кольцом.*

– Тигров иногда относят к пантерам, – вступился Толстой, – а «в лесе» – допустимая, хотя и несколько устаревшая форма. И к «пантеру» это не сводится!

– Ни в коей мере, – сказал Саша. – На самом деле, этот перевод мне нравится гораздо больше, чем... другие переводы.

Саша вовремя вспомнил, что Лозинский еще не родился.

– Очень мелодично, – продолжил он, – звучит, поет. Жаль, что автор перевел только отрывки из разных глав «Ада». Хотя, конечно, «Божественной комедии» сокращения только на пользу.

– Арест помешал переводу, – сказал Толстой.

– Он сейчас на свободе? – поинтересовался Саша.

– Да, но ему до сих пор запрещено жить в столицах.

– А что так круто? Достоевскому можно вроде бы?

– Нет, он в Семипалатинске.

– О, Боже! – вздохнул Саша. – В этой стране не знаешь, за что хвататься! Разве не было полной амнистии?

– Дворянство вернули в прошлом году, – сказал Толстой. – Но это еще не право жить, где угодно.

– Как вы, однако, умеете ловить на слове, граф, – заметил Саша. – Феерично просто!

– Я вас на слове не ловил, Ваше Высочество! – сказал Толстой.

– Ок, я сам себя поймал, – согласился Саша. – Сделаю все, что смогу.

– Но Дуров вряд ли сможет закончить перевод, – признался Алексей Константинович. – Каторга полностью разрушила его здоровье.

– Это совершенно неважно! – сказал Саша. – Не сможет переводить – пусть в себя приходит. Но пришлите мне текст, а то я его помню только до появления Вергилия.



Велики хранились у входа в конюшню, что было довольно логично. Саша несколько забеспокоился за чистоту колес, но обошлось, поскольку в стойло их не поставили.

Толстой сдал железных коней гостям в целости и сохранности, и Саша с Никсой чинно и осторожно, под покровом сумерек осеннего вечера, вывели их из Китайской деревни, и оседлали только в Екатерининском парке.

– А что за новелла про дьявола и ад? – спросил по дороге Никса.

– Матрид, – сказал Саша. – После Рабле прочитаешь. На французском наверняка есть.

Вернувшись к себе, Саша принялся за дневник и описал там встречу с Алексеем Толстым, правда, опустив некоторые детали, и записал, все, что узнал про род Перовских.

– В дневнике этому не место, Александр Александрович, – заметил Гогель.

– Зато не потеряется, – сказал Саша. – Бывают же лирические отступления! Зато запись длинная.

– Хорошо, – смирился Григорий Федорович. – Пусть так.

– Что вы еще можете о них рассказать?

– Старший из Перовских Николай был Таврическим губернатором, – сказал Гогель.

– Это отец Льва? – спросил Саша.

– Да, – кивнул гувернер.

«И дед нашей Софьи Львовны», – отметил про себя Саша.

– Младший брат Николая и Алексея – Лев был министром внутренних дел, – продолжил Гогель.

– Это другой Лев Перовский? – спросил Саша.

– Да, – кивнул Гогель. – Лев Алексеевич – дядя Льва Николаевича.

Саша записал и начал рисовать родословное древо.

– А другой брат Василий был Оренбургским и Самарским генерал-губернатором, – продолжил Григорий Федорович. – Младший из братьев Борис Алексеевич – граф, генерал-майор и член свиты государя.

– Странно, что мы еще не пересекались, – заметил Саша.

– Пересекались, – сказал Гогель, – вы просто не помните.

Да, для Перовских стоило завести отдельный журнал. Точнее досье. И заносить туда все касающиеся их новости. В том числе про девочку Соню.

Та Софья Перовская или не та?

– Для тринадцати лет начитанность просто феноменальная, – заметил граф, вернувшись в свой китайский домик.

– Фееричная, – усмехнулась Софи, – и резонёрство – тоже.

– Ты слишком строга к нему, – возразил Алексей Константинович. – Это не резонерство – это независимость суждений.

– Скорее необоснованность, чем независимость.

– Смелость, – уточнил граф.

– Наглость, – сказала она. – Подросток, который судит о «Божественной комедии».

– Подросток, который ее читал.

– Только «Ад».

– Не требуй слишком многого! И не морализаторство у него, а политическая программа.

– Понимаю тебя! – усмехнулась Софи. – Трудно быть объективным по отношению к человеку, который только что в глаза назвал тебя классиком. Через сто лет тебя будут читать, Толстой!

– Почему ты считаешь, что нет?

– Потому что есть Тургенев, Достоевский и твой троюродный брат Лев!

– Вот уж кто резонёр, – сказал граф.

– В «Севастопольских рассказах»? Преувеличиваешь.

– Зато «Юность», – сказал Алексей Константинович.

Молодой талантливый автор Лев Николаевич Толстой, кроме «Севастопольских рассказов» успел опубликовать только трилогию «Детство», «Отрочество» и «Юность», но уже удостоился восхищенных отзывов критиков.

Граф вздохнул и отвернулся к окну. Там уже царила ночная тьма, и только желтый березовый лист прилип к стеклу с той стороны, словно кусочек янтаря.

Про великого князя Александра Александровича много слухов ходило. Все сразу обратили внимание, что его болезнь совпала со спиритическим сеансом в Большом Петергофском дворце. А потом все заметили, как резко изменился этот мальчик после болезни. Так что версия о том, что в нем воплотился покойный государь Николай Павлович, которого тогда вызывали, появилась почти сразу.

В пользу этой теории говорила патологическая ненависть юного великого князя к курению, страсть к изобретательству и способности к математике. Либеральные взгляды объяснялись очень просто: Николай Павлович понял ошибки своей политики, которые привели страну к поражению в Крымской войне, и вернулся на землю, чтобы их исправить.

Святой Петр самоубийцу в рай не пустил, а ада, по мнению сторонников этой версии, Николай Павлович тоже не заслуживал – вот и вынужден был скитаться между небом и преисподней, пока не смог удержаться на земле в теле собственного внука.

Впрочем, многочисленных ненавистников покойного государя эта версия никак устроить не могла, зато либерализм Александра Александровича приводил в экстаз. И тут им на помощь пришел лондонский изгнанник. Материалист Герцен ни в какой спиритизм не верил и кинул свою версию исключительно, чтобы поиздеваться. Ну, да! Дух Петра Великого тоже вызывали. Почему собственно Николая Павловича, а не самого Петра Алексеевича?

На Петра принц походил своим вызывающим демократизмом. Впрочем, и Николай Павлович любил с народом обниматься. Если конечно народ его поддерживал.

Все помнили историю про то, как он читал свой манифест в тот самый день 14 декабря 25 года на Дворцовой площади. Его окружила толпа, два георгиевских кавалера предложили себя в телохранители, подошел верный батальон Преображенского полка.

«Ребята! – обратился император к собравшимся. – Не могу поцеловать вас всех, но – вот за всех!»

Заклучил в объятия первого подвернувшегося под руку мещанина Луку Чеснокова и расцеловал его. А потом народ передавал друг другу царский поцелуй, словно в середине декабря наступила Пасха.

Можно представить себе в этой роли юного князя Александра Александровича? Можно! Еще как можно!

Только «мы Вольтеров в тюрьму не сажаем» очень на его деда не похоже. Впрочем, не похоже на Николая семи последних мрачных лет России. А юный великий князь Николай Павлович вел себя совсем иначе. И вполне мог приютить у себя в Инженерном училище какого-нибудь опального либерального профессора, изгнанного из университета. Да еще благодарить гонителя за хорошего преподавателя, который теперь все время может посвятить подведомственному Николаю Павловичу заведению.

Можно представить в этой роли Александра Александровича? Еще как!

На Петра было похоже безудержное реформаторство этого мальчика: и борьба с «ятем», и проект патентного бюро. Но и все реформаторство было пока в духе Николая Павловича: покойный государь и писал без «ятей», и пулю Минье усовершенствовал.

Так что, если уж верить в переселение душ, граф больше склонялся к версии про Николая Павловича. Даже, если это кому-то не по сердцу!

– Толстой, а ты заметил, какой у него был взгляд, когда он произнес это имя: Софья Перовская? – спросила Софи.

– Честно говоря, нет, – удивился граф.

– Писатель должен быть наблюдательнее, – заметила она. – Холодный стальной взгляд, как у его деда! И, когда он узнал, сколько ей лет – ничего не изменилось! Он сумасшедший. Наверняка считает, что духи нашептали ему это имя. Да он готов был убить ее. Пятилетнего ребенка!

– Тебе показалось, – сказал Алексей Константинович. – Александр Александрович – очень добрый мальчик: Дурову обещал помочь, не принимает смертной казни, избавил какого-то кадета от порки в летнем лагере, привязан к брату.

– К нему Балинского приглашали в июле.

– Частичная потеря памяти, – объяснил граф. – Я видел сумасшедших, Софи, здесь совсем не то.

– Федотова ты имеешь в виду?

Это случилось несколько лет назад. Художник и друг Толстого Павел Андреевич Федотов стал исчезать из дома, пока не исчез окончательно. Его обнаружили в Царском Селе, где он

делал в магазинах необъяснимые покупки и вообще сорил деньгами направо и налево. А на съемной квартире купил себе гроб и спал в нем.

Наконец друзья нашли его в частной лечебнице для душевнобольных в ужасающем состоянии. Его держали связанным в чулане под лестницей, с одетыми в кожаные мешки руками. Он был в больничном халате, бос, обрит наголо. Граф не мог забыть его страшные горящие глаза, безумный свирепый взгляд, крики и непрерывную площадную брань.

Друзья были потрясены.

Они сделали совместный рисунок, изображающий Федотова в этом состоянии, и везде показывали его, надеясь на помощь. Дело сдвинулось с места, когда рисунок увидел Александр Николаевич, тогда еще цесаревич. Он пришел в ужас, и бывшего художника поместили в казенную клинику, где условия были лучше, и которая находилась под покровительством наследника.

Федотов несколько пришел в себя, даже вернулся к занятиям живописью, но выздороветь так и не смог.

Государь Александр Николаевич тоже видел сумасшедших. Да, летом заволновался, вызвал к сыну знаменитого психиатра, но сейчас выглядел совершенно спокойным.

– Да, Федотова. Александр Александрович слишком сдержан для сумасшедшего, Софи, – заметил граф. – И слишком умен.

– С безумцами это бывает, Толстой, – хмыкнула она. – В том, что тебе надо уходить со службы, он совершенно прав.

Саша помнил, что перевод Дурова – это несколько страниц. Но текст ему действительно нравился, в будущем он знал его почти наизусть. Так что присланный Толстым вариант вызубрил к субботе без проблем.

Погода все равно была плохая, шел занудный октябрьский дождь, так что субботним утром делать было нечего.

Интересно, папá помнит эти стихи? Мог читать, конечно. Опубликовано двенадцать лет назад.

Да, вполне типичное «хорошо, но плохо». Замечательные пассажи, вроде слов Харона:

*Зачем ты здесь, в несущем царстве – сущий?
В моей ладье тебе приюта нет:
С усопшими не должен быть живущий!*

И объяснений Вергилия:

*В них светлых чувств и мыслей доставало,
Чтоб проникать в надзвездные края;
Но воля в них, от лени, дремала...*

*В обители загробной бытия
От них и бог и демон отступился;
Они ничьи теперь, их жизнь теперь ничья...*

Но за это надо терпеть «полосатого пантера» и «в лесе». Но, судя по замечанию графа, аборигенам это не должно так резать слух, как режет Саше.

Вечером семья собралась за ужином в купольной столовой: темные дорические колонны, потолок с восьмиугольными каменными сотами, напоминающими своды ранних римских церквей, и купол с нежно-сиреневой, кружевной розеткой где-то в вышине.

В хрустальной люстре горели свечи. Тени от колонн падали на пол и колебались вместе с пламенем.

Папá был в хорошем настроении, мамá улыбалась.

– Николай Васильевич тобой очень доволен, Саша, – сказала она. – Особенно успехами в физике.

– С русским и историей, видимо, хуже, – изобразил смущение Саша. – Яков Карлович меня ругает?

– Нет! – горячо возразила мамá. – Ему очень понравилось твоё сочинение о «Лесном царе», а знание эпохи Возрождения выше всяких похвал.

– Я люблю итальянское Возрождение, – улыбнулся Саша.

– Так что мы решили, что ты заслуживаешь награды, – сказал папá. – Чего бы ты хотел?

И Саша с тоской подумал, что компенсировать покаянный полтинник было бы очень неплохо.

И записку про метрическую систему самое время подавать.

– Давай я немного издаю начну? – попросил Саша. – Мы говорили об эпохе Возрождения. Я выучил один перевод, он мне очень нравится. Можно мне его прочитать?

Никса посмотрел с любопытством.

– Сам выучил? – удивилась мамá. – Или Яков Карлович задал?

– Сам, – улыбнулся Саша. – Яков Карлович здесь совершенно ни при чём!

Ещё не хватало Грота в это втянуть!

– Тогда читай, – кивнул папá.

Глава 4

– На полпути моей земной дороги... – начал Саша.

Опыт публичных выступлений у него был немаленький, особенно, там, в будущем. Стихи надо было читать, как защитную речь: громко и проникновенно, но обращаясь к публике так, словно это дружеский разговор за чашкой чая.

Нигде не сбившись, дошел до последних терцетов, где челн Харона пристает к берегам «Ада»:

*Причалил. Вот мы вышли в темный лес:
Ах, что за лес! Он весь сплелся корнями,
И черен был, как уголь, лист древес.*

*В нем цвет не цвел. Колючими шипами
Росла трава. Не воздох, – смрадный яд
Точил окрест и помавал ветвями...*

– Прекрасно, – сказала мамá. – Но стихи обрываются на полуслове.

– Автор не смог закончить перевод, – объяснил Саша.

– А что с ним случилось? – поинтересовалась она.

– Арестовали.

Папá насторожился.

– Кто автор? – спросила мамá.

– Сергей Фёдорович Дуров, – сказал Саша.

Папá смял салфетку и бросил на стол.

– Алёша нашел, за кого попросить! – буркнул он. – Ты хоть знаешь, кто такой этот Дуров?

– Талантливый поэт и переводчик, который имел неосторожность посещать литературные вечера по пятницам, – сказал Саша.

– Литературные вечера! – повторил папá. – У него был отдельный кружок, у твоего Дурова!

– Папá, а создание литературного кружка – это какая статья? – спросил Саша.

– Саша! Не литературного, а вполне политического, – возразил царь. – Они планировали восстание и обсуждали, как вести пропаганду в народе, чтобы его на это восстание поднять.

– Подняли? – спросил Саша.

– Слова сами по себе могут быть опасны!

– Не думаю, – упрямо возразил Саша. – Судить за слова – это все равно, что за намерения судить. По римскому праву намерение не может считаться преступлением.

– Там не одни намерения, – сказал папá. – Петрашевский у себя в имении фаланстер выстроил. Правда, крепостные его спалили.

Саша порылся в своей памяти. А! Фаланстер – это такой Дом культуры в коммуне, с библиотеками, мастерскими, холлами и балльными залами.

Лучше бы он их на свободу отпустил!

– Меня всегда восхищало понимание крестьянством утопичности социализма, – заметил он. – Папá, а строительство фаланстера – это какая статья?

– Никакая! – сказал император. – Но я хочу, чтобы ты понимал, что петрашевцы – ненавидные тебе социалисты.

– Стихи замечательные, – примирительно проговорила мамá.

– Я их простил, – сказал папá. – Даже восстановил в дворянстве.

– Мне кажется, что литератору должно быть тяжело без права въезда в столицы, – заметил Саша. – В столицах вся литературная жизнь.

– Саша, я не хочу больше слышать имя Сергея Дурова! – отрезал папá. – Ты хотел награды? Проси!

– Я уже попросил, – сказал Саша.

– Проси другую!

– Среди них еще был писатель по фамилии Достоевский, – сказал Саша. – Я был крайне удивлен, что он до сих пор в Семипалатинске...

– Ладно, – сказал папá, – этот, насколько я помню, не так замешан. Но вообще ты зря за них просишь, они того не заслуживают.

– А можно мне посмотреть материалы дела? – попросил Саша. – Чтобы больше не просить за недостойных.

– Ты надеешься там что-то понять? – удивился царь.

– Я надеюсь понять все, – сказал Саша.

– Самоуверенности тебе не занимать!

Мама́ сидела в серебряном кабинете, когда-то любимым Екатериной Великой, и плакала. В руках у нее был "Колокол".

Тучи начали сгущаться дня четыре назад, видимо, папá уже телеграфировал господин Бруннов – посланник в Лондоне и, по долгу службы, постоянный читатель сего популярного издания. Вот теперь и печатая версия подъехала.

Папá тоже был здесь: он стоял у окна, за которым угасал короткий ноябрьский день.

В люстре и канделябрах пылали свечи, отражаясь в бесконечных зеркальных коридорах и освещая изящный растительный орнамент на узких участках стен между зеркалами.

Мама́ сидела на ментолового цвета диване и была как-то особенно прекрасна. Рядом с ней на краешке пристроилась Тютчева и сочувственно смотрела на государыню.

На щеке у мама́ сверкала слеза, и глаза были влажны и печальны.

Никса, который притащил сюда Сашу («твой Герцен опять напечатал про нас какую-то гадость!»), бросился к маменьке и обнял ее за шею, а она в ответ обняла его.

Саша тоже на месте не устоял, втиснулся между императрицей и Анной Федоровной, и обнял мама́ с другой стороны.

«Колокол» был открыт на статье под названием «Письмо к императрице Марии Александровне», которая начиналась со слова «Государыня».

«У нас нет настоящего, и поэтому неудивительно, что нас больше всего занимает будущее нашей родины», – писал Герцен.

– Можно мне почитать, мама́? – спросил Никса.

И злополучный листок переключал к брату и скрылся из поля зрения Саши.

– Потом я, ладно? – попросил он.

– Прочитай! Прочитай! – отозвался от окна папá. – Подумай, что ты хотел разрешить, а потом посмотри на мать!

– Гм... – сказал Никса, прочитав. – Честно говоря, насчет Гримма...

Но встретил гневный взгляд папá и отчаянный мама́ и осекся.

Зато газета досталась Саше.

Речь шла в основном о воспитании Никсы и об ответственности мама́ за этот процесс:

«По несчастью, очень многое в судьбах самодержавных монархий зависит от личности царя. Петр I недаром жертвовал своей реформе династическим интересом и жизнью своего сына. «Je ne suis qu'un heureux hasard» («Я только счастливая случайность») Александра I перешло в историю. Вот в этой-то азартной игре вы можете увеличить счастливые шансы – в пользу ближайшего будущего России».

«Вся Россия радовалась, услышав, что люди высокого и притом штатского образования призваны вами, – писал Герцен, имея в виду Кавелина. – Многие думали даже, что увидят вашего сына на лавках Московского университета, этого Севастополя науки и образования, свято, самоотверженно продержавшего свое знамя – истины и мысли в продолжение тридцатилетнего гонения. И увидят его там без пикета генерал-адъютантов, без прикрытия тайной и явной полиции, так как видят в аудиториях сына королевы Виктории. И мы издали благословляли вас...»

Саша оценил метафору. Московский университет – это Севастополь, который до сих пор не пал, последняя твердыня свободы. Этакая Хельмова падь.

После пассажа про универ лондонский эмигрант катил тяжелую бочку на Августа фон Гримма. Даже не бочку, а целый вагон с кирпичами. Прямо по рельсам с пригорка.

«Что же знает этот немец о России, что он понимает в ней, что ему за дело до нее? – гремел Александр Иванович. – Он по вольному найму пошел бы точно так же учить сына алжирского дея... Бьется ли его сердце от русской песни, и обливается ли оно кровью при слухе о рекрутском наборе, о неистовствах помещичьих, о чиновничьем грабеже? Стих Пушкина родной ли ему, и понятен ли ему быт нашего мужика?... Чему научит этот чужой вашего русского сына... или вы не знаете высокомерную ненависть немцев ко всему русскому, их отвращение к нам, которое они едва могут скрывать под личиной клиентизма и низкопоклонства, напоминающих рабов-грамматиков древнего мира?»

Саша живо вспомнил российских эмигрантов образца 21 века, которые от тоски по Родине и регулярного просмотра отечественного телевидения рассуждали примерно в том же ключе о мерзких, нелюбящих нас немцах, американцах, испанцах и болгарях. Ну, или еще ком-то. Но при этом не обнаруживая ни малейшего желания вернуться домой.

В общем, типичный квасной патриотизм забугорного эмигранта. Но в остальном автор был, черт возьми, прав!

Герцен ставил в пример королеву Викторию и ее сына принца Уэльского (которого величал «Вельским»), ибо принц посещает лекции в университете и умеет обращаться с микроскопом.

И упрекал Гримма за бесстыдную и витиеватую лесть Николаю Павловичу.

«Бедный мальчик ваш сын! – сокрушался Герцен. – Да будь он кто-нибудь другой, нам дела не было бы до него; мы знаем, что большая часть аристократических детей у нас воспитывается очень дурно. Но ведь с его развитием связаны судьбы России, и вот оттого-то у нас на душе тяжело, когда мы слышим, что к нему приставлен человек, который мог напечатать эти строки. Что, если сын ваш поверит, что Николай был величайшим мужем XIX века, да и захочет ему подражать?»

Саша покосился на «бедного мальчика». Да, дедушку Никса чтит.

Зиновьеву в письме тоже досталось, и даже не столько ему лично, сколько военному образованию вообще.

«Звание русского царя не есть военный чин, – писал Герцен. – Пора оставить дикую мысль завоеваний, кровавых трофеев, городов, взятых приступом, разоренных деревень, потоптанных жатв, – что за мечтания Нимврода и Аттилы? Время этих бичей человечества, вроде Карла XII и Наполеона, минует. Все, что требует Россия, основано на мире, возможно при мире; Россия жаждет внутренних перемен, ей необходимо новое гражданское и экономическое развитие, а войско и без войны мешает тому и другому. Войско – разорение, насилие, притеснение; его основание – безмолвная дисциплина; солдат потому и вреден гражданскому порядку, что не рассуждает, с него снята ответственность, отличающая человека от животного».

– Про мирное развитие, войну и перемены – подписываюсь под каждым словом, – сказал Саша.

Царь резко повернулся к нему.

– Это все, что ты можешь сказать?

– Нет, я еще не дочитал.

«Печальная необходимость – середь мира держать себя наготове к отпору – обуславливает необходимость военного устройства, – продолжал Александр Иванович. – Готовясь быть главою государства, наследник должен знать и военную часть, но как часть; финансовые и гражданские вопросы, судебные и социальные имеют гораздо больше прав на то, чтоб он их знал, и знал хорошо...

С каким глубоким огорчением слышим мы рассказы, как к наследнику посылают кадет для игры и как они в залах Зимнего дворца играют в войну... в черкесов и русских... Какая пустота, какая бедность интересов, какое однообразие... и притом какой нравственный вред! Неужели вы никогда не подумали, что значит эта игра, что она представляет... зачем ружья, штыки, сабли, зачем эти биваки, для которых камер-лакей зажигает спиртовую лампу на полу вместо костра? Вся эта игра представляет несчастье сражений, т. е. гуртовое убийство, торжество грубой силы... тут недостает одного – крови по колена, стоны раненых, груды трупов и диких криков победителей».

– Честно говоря, Никса, если вспомнить арсенал в твоей спальне, – не в бровь, а в глаз, – заметил Саша.

– Могу тебе половину подарить, – сказал брат.

– Не то, чтобы я очень против, но для этого нужна отдельная комната, которой у меня нет. Все-таки Александр Иванович ужасающе серьезен. Обличать игры в войну – это все равно, что обвинять игру «казаки-разбойники» в росте преступности.

– Неужели ты не во всем с ним согласен? – усмехнулся папá.

– Во многом согласен, – сказал Саша. – Например, мне тоже кажется, что знание экономики и права важнее для государя, чем военное дело. Ни Екатерина Великая, ни Александр Павлович полководцами не были.

– Но побеждали, – заметил Никса.

– Вот и я о том же, – сказал Саша.

– Саша! – возмутился папá. – Как он смеет учить нас, как нам воспитывать своих детей!

– Его это прямо касается, – заметил Саша. – Он же объяснил. Александр Иванович еще не вышел из российского подданства?

– Нет, но давно игнорирует все приказы вернуться, – сказал царь.

– Ну, это понятно, – усмехнулся Саша. – Не всякий добровольно вернется в Алексеевский равелин. А знаете, что в этом самое прекрасное?

– Прекрасное? – переспросил царь.

– Конечно, – кивнул Саша. – Господин Герцен ведь не пишет «республика или смерть», даже «конституция или смерть» не пишет, более того монархия, даже самодержавная, для него вполне приемлемый вариант, а вся проблема в том, чтобы правильно воспитать Никсу. И, если результат ему понравится, и Николай Александрович выйдет мирным, интеллигентным, начитанным и умеющим пользоваться микроскопом, то Александр Иванович встанет по стойке «смирно» и построит всех своих читателей.

– Ты предлагаешь плясать под дудку этого мерзавца? – спросил царь.

– Я предлагаю к нему прислушаться, – сказал Саша. – Ну, почему он мерзавец? Человек за нас буквально болеет душой. Идея с Московским университетом мне вообще нравится.

– У нас не так спокойно, как в Оксфорде, – заметил папá. – В Харькове недавно были студенческие волнения. А до того в Киеве, Москве и Петербурге.

– А почему? – спросил Саша. – Почему в Оксфорде нет, а у нас есть?

– Потому что у нас считают, что университет не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы безобразничать. В Харькове студенты были высланы из города за пьяный дебош.

– На этот эпизод Герцен намекает? – спросил Саша. – Как я понял, брат Николая Васильевича возглавляет Харьковский учебный округ, и он поддержал преследования студентов.

«Мы знаем за ним одну добродетель – писал Герцен о Зиновьеве, – нежную любовь к брату, которого он всеми неправдами вывел из каких-то смотрителей смиренного дома в попечители Харьковского округа и отстоял его против правых студентов».

– Папá, а почему Александр Иванович считает, что правы были студенты? – спросил Саша.

– Потому что у него любой бунтовщик прав, – поморщился царь. – Были случаи, когда была неправа полиция, мы разбирались. В Киеве я лично разжаловал полковника, оскорбившего студента, но не здесь. Николая Васильевича упрекнуть не в чем.

– Я предпочел бы посмотреть на это изнутри, – заметил Саша. – А для этого надо там поучиться.

– Ваши жизни слишком дороги для этого, – отрезал папá.



«Любезный Александр Иванович!

Я прочитал Ваше письмо к моей матушке. По моей просьбе, из ее рук. Она плакала, когда читала.

Разговор о будущем, в том числе о воспитании наследника, – не такой плохой разговор, хуже, если у страны есть только прошлое.

Но вы несправедливы к мамá. Воспитание моего брата и сейчас не всецело в ее руках. И удаление Титова и Кавелина – совсем не ее вина. К сожалению, это требование государя, а не успешная интрига консервативной партии.

Маменька прекрасно осознает и долг, и ответственность. Только ей я обязан встречей с академиком Якоби, который смог реализовать некоторые мои идеи.

Внешняя сторона армейской науки интересует моего старшего брата также мало, как и меня, однако я не вижу ничего плохого в игре в войну: все мальчишки в войну играют. Плохо то, что наши игры слишком просты. Я бы добавил исторических знаний и политической интриги, так что это стало больше игрой в политику, чем в сражения.

Но в том, что в нашем образовании серьезный перекос в сторону военного, вы совершенно правы. Как сказала мадам де Сталь в том разговоре с Александром Павловичем, который вы цитируете, «государь более редкое явление, чем генерал».

Кстати, не подумайте, что я знаю эту беседу наизусть. Я ее нашел в библиотеке Александровского дворца, у нас в Царском селе, и прочитал. А то, что воспоминания опальной писательницы есть в нашей библиотеке, значит, что мы не такие уж солдафоны.

Вы несправедливы к моему деду. Понимаю, что людям ваших взглядов есть в чем его упрекнуть. Однако декабристы достались ему по наследству, не он их спровоцировал, а нерешительность Александра Павловича, который обещал и крестьянам свободу, и интеллигенции – конституцию, но то ли не успел, то ли передумал.

Во время восстания декабристов у Николая Павловича был очень узкий коридор возможностей.

Мог бы, конечно, обойтись без смертной казни, но по меркам его времени, пять человек – это не очень много.

Дедушка сделал по крайней мере три вещи, которые я вряд ли когда-нибудь буду ценить меньше, чем сейчас: принял «Уложение о наказаниях» 1845-го года, вернулся в зараженный холерой Петербург и дал крупный грант на развитие науки об электричестве академику Якоби, что говорит о том, что инженерное образование для государя совсем не лишнее.

Так что ему есть за что похвалиться. Compliment господина Гримма плох не тем, что не заслужен, а тем, что пуст.

Относительно нашего немца, мы с Николаем можем сказать вам только одно: «Спасибо за поддержку». Мы тоже считаем этот выбор неудачным. Немецкая история и культура прекрасна, но Никсе не Пруссией предстоит управлять.

Хуже всего то, что преподавание ведется на немецком. Мой умный брат еще как-то справляется, а моих знаний языка не хватает совсем. Но нет худа без добра: зато мне оставили Грота.

Знаю, что воцарению Гримма на троне нашего образования мы тоже обязаны матушке, однако, думаю, ей было трудно найти приемлемую для большинства партий кандидатуру за столь короткий срок.

Мои соображения о воспитании и Николая, и других моих братьев, боюсь, куда радикальнее Ваших.

Я уже заслужил в моей семье репутацию Сен-Жюста, для меня, как сторонника полной отмены смертной казни, крайне обидную. Однако, если не принимать во внимание участие этого исторического персонажа в якобинском терроре, может быть, в этом прозвище что-то есть.

«Никакой свободы врагам свободы!»

У моего старшего брата нет выбора, чем ему придется заниматься в жизни. Даже вы не спорите, что его надо готовить к трону, а обсуждаете только, хорошо ли это делают.

Но беды в этом нет. Никса, по-моему, на своем месте. Он очередная счастливая случайность, и вряд ли в чем-нибудь уступит Александру Павловичу.

Но почему лишают выбора нас, его братьев? Не эффективнее ли человек в том, чему он сам бы хотел посвятить жизнь? Почему бы не дать мне заниматься естественными науками, медициной и правом, к которым у меня лежит душа, а не войной? Даже Володе, по-моему, военные занятия ближе и понятнее, чем мне.

Конечно, я пойду на фронт, если будет нужно моей Родине, я не трус. Только Родине, а не чьему-то властолюбию. Атилла – не мой герой, как и не ваш. России не к чему чужая земля, своей полно. Пора заканчивать с агрессивными колониальными войнами против соседних народов. Надо разобраться со своими проблемами, прежде, чем кого-то учить жить.

Мне ближе то гражданское мужество, которое так почитал Михаил Лунин: «Мы готовы умереть на поле боя, но боимся сказать слово в Государственном совете». Может, и умирать не придется, если слово будет сказано вовремя.

Право не понимаю, за что запрещают Ваш «Колокол». И мне очень жаль, что такому преданному России человеку, как Вы, приходится жить в эмиграции.

У нас не понимают и боятся этого балансирования на волнах: только бы лодку не раскачали! А я представляю себе корабль во время землетрясения в нескольких километрах от берега. Берег горит и вздымается, на него обрушивается цунами, а наш бриг только слегка раскачивается, и команда остается жива и невредима.

Я где-то читал, что в Японии, где землетрясений примерно, как у нас снегопадов, строят дома на подвижных фундаментах. И только они и переживают волнение земли, когда вокруг все разрушено до основания.

Да, сложно. Да, страшно.

Но я слишком хорошо знаю, как умеет взрываться, казалось бы, твердая, тщательно подмороженная земля, если под коркой у нее кипит лава. Да и не эксклюзивное это знание, достаточно историю почитать.

Запретить оппозиционные издания и свободное обсуждение важных для общества вопросов – это все равно, что развидеть эту лаву. Ну, развидим. Но она же от этого никуда не денется!

Только будет взрыв. И боюсь такой силы, что это не порадует даже такого революционера, как ваш коллега Николай Огарев, и он сам удивится, оказавшись со мною по одну сторону баррикад.

Я не хочу этого взрыва. Верю, что и вы не хотите.

А что за история со студентами из Харьковского университета?

Вы с папá трактуете ее совершенно по-разному. Папá говорит, что студенты были исключены за пьяный дебош. Если это так, что же в этом несправедливого?

Надеюсь на Вашу скромность, мне бы не хотелось, чтобы это письмо потом где-нибудь всплыло.

Надеюсь, вы не оставите его без ответа.

Если бы я жил с Вами на соседней улице, в Лондоне, в любом распространении моего текста, и даже в его публикации, не было бы беды. Но я в России, что несколько меняет дело.

Я бы не хотел окончательно портить отношения с моим отцом, которого безмерно уважаю, несмотря ни на что.

Как бы ни были умеренны его реформы, они лучше, чем их отсутствие.

Ваш Вел. Кн. Александр Александрович.

P.S. Извините, что пишу без «ятей» и «еров». Я считаю, что реформа русской орфографии давно назрела, так что это для меня как «Карфаген должен быть разрушен!» Понимаю, что это не самый важный вопрос сейчас в России, но сложности правописания только вредят просвещению.

P.P.S. Если Вам неприятно или неудобно читать без «ятей» – говорите. Буду писать с «ятями», я уже знаю, где они должны быть».

Подписываться ли своим именем? С таким оппонентом, как Александр Иванович, лучше быть честным и прямым.

Саша запечатал конверт, надписал: «Герцену Александру Ивановичу». И вложил в другой конверт, адресованный Тургеневу вместе с запиской: «Уважаемый Иван Сергеевич! Спасибо за ваши «Записки охотника». Ваши описания великолепны, а истории героев трогают до глубины души. Не могли бы вы передать адресату мое второе письмо?»

И отправил с лакеем к Елене Павловне, приложив еще одну записку: «Любезная тетушка! Не могли бы вы передать мое письмо адресату, желательно с оказией, минуя официальную почту?»

Глава 5

– Он, – сказал Николай Платонович Огарев. – Тот же автор. Ни с кем ни спутаешь. Легкий стиль, эрудиция, короткие фразы, очень короткие абзацы, отдельные строки вообще без абзацев. Больше никто так не пишет.

– Потому что это против правил, – заметил Александр Иванович Герцен.

– Он не стесняет себя правилами, – усмехнулся Огарев.

– Да, тот же, что писал для «Морского сборника», – кивнул Герцен. – Проект патентного ведомства, рассказ про японцев и несколько переводов с английского в том же стиле. Тот, кто подписывается «А.А.» Но в то, что автору тринадцать с половиной лет, мне до сих пор трудно поверить.

– Пишет взрослый человек... – задумчиво проговорил Огарев.

– Елена Павловна? – поинтересовался Герцен. – Константин Николаевич? Оба в соавторстве? Оба в соавторстве с привлечением Кавелина? Странно, что люди, которые за всю жизнь ничего не написали, вдруг за три месяца выдали несколько довольно качественных текстов. При этом на Кавелина совершенно не похоже.

– Да, – кивнул Николай Платонович. – Ни на кого не похоже.

– Что мы имеем? – продолжил Герцен. – Статьи и письма человека, явно очень осведомленного о происходящем в семье императора. Возможно, члена семьи. Очень начитанного. Явно знающего несколько языков, судя по числу заимствований. Испытывающего прямо-таки верноподданнический пиетет перед императором. Похоже, искренний. При этом либерала, и довольно радикального. И в писаниях этих ровно то, что говорит малолетний князь Александр Александрович буквально на каждом углу. Кто, если не он? Как бы нам не хотелось усомниться в появлении гения в царской семье.

Огарев открыл крышку рояля и стал наигрывать «Трубача».

– Он это приписал какому-то Щербакову, провинциальному дворянину, выпускнику Историко-филологического факультета Московского университета. Про которого, правда, больше ничего не известно.

И напел:

– Знай, все победят только лишь честь и свобода! Да, только они, а все остальное – не в счет.

– «Я ни от кого, ни от чего не завишу. Встань, делай, как я, ни от кого не завишь!», – усмехнулся Александр Иванович. – Интересно, а ему не влетело за эту песню?

– Список передали через Тургенева от Якова Ламберта, – сказал Огарев. – Может, еще не дошло до Александра Николаевича. Интересно знает ли наш корреспондент собственные стихи?

– А вот мы у него и спросим, – сказал Герцен и взял лист бумаги.

– Попроси тексты песен, ноты и аккорды, – подсказал Огарев.

– Кстати, он на публикацию напрашивается, ты заметил?

– Предложи под псевдонимом.

«Ваше Императорское Высочество! – начал Герцен. – Спасибо за письмо. Разумеется, без Вашего позволения, мы ничего печатать не будем, но можем предложить Вам публиковаться у нас под псевдонимом. Хотя статьи нам были бы более интересны, чем просто переписка. Например, Ваше мнение об «Уложении» 1845 года и как оно соотносится с Вашими взглядами, которые Вы излагали летом в гостиную Вашей матушки. Мне кажется к ним больше бы подошел кодекс Наполеона, чем кодекс Николая Первого, который Вас так восхищает.

14 декабря погибло вовсе не 5 человек, более тысячи были расстреляны картечью на Сенатской площади и из пушек на Невском льду. Столь уважаемый Вами Николай Павлович вошел во власть по залитой кровью брусчатке.

Ночью на Неве было сделано множество прорубей, куда вместе с погибшими опустили раненых, не разбирая повстанцы это или солдаты правительственных войск.

Так что Вы ошибаетесь относительно числа жертв.

Да, казнены были пятеро, а сколько погибло на каторге в Нерчинских рудниках от невыносимых условий заключения вы посчитали?

А тех, кто были до смерти забиты шпицрутенами в правление столь уважаемого Вами императора? Шпицрутены как соотносятся с Вашими убеждениями?

Легенда о том, что Николай Первый усмирил холерный бунт только словом, приказав собравшимся преклонить колени и устыдив бунтовщиков – увы, только легенда. Народ разогнали нагайками прежде, чем император въехал в город.

А вернулся он потому, что трон под ним зашатался. Страх потерять власть оказался сильнее страха холеры.

И в чем итог правления Вашего деда? За тридцать лет он так и не освободил крестьян и в конце концов проиграл войну.

Во взглядах на образование мы с Вами совпадаем, Ваше Высочество. Свобода должна быть в его основе. Только незачем учиться убивать.

Подлинная история харьковских студентов очень простая.

В Харькове есть губернатор Лужин и есть князь Салтыков. И Салтыков женат на дочери Лужина. Дворян первого бесчинствует, и все ей сходит с рук, потому что ее бесчинства покрывает дворян второго – то есть полиция.

Однажды вечером дворян князя напала на студентов, отчего вышла драка, на шум которой вышел сам Салтыков.

Полиция явилась на помощь, студентов захватили и без суда отправили с конвоем к атаману Хомутову на Дон, потому что они были казаки.

Товарищи их явились к брату вашего Зиновьева, прося разобрать дело как следует законным порядком; Зиновьев нагрубил студентам и отказал им в просьбе. Тогда 280 человек подали просьбу об увольнении. При этом значительное число студентов – люди бедные, для которых вопрос об окончании университетского курса – вопрос о куске хлеба. Так что «Честь им и слава!»

Посланных с конвоем студентов воротили, вероятно опасаясь последствий такого самовольного распоряжения. Наши корреспонденты писали нам в «Колокол», что «бумага, по которой они были посланы, составлена задним числом и что студентов обвиняли совсем в ином деле».

Вот и судите, кто здесь прав, Ваше Высочество.

Извините, а какое произведение Михаила Лунина Вы цитируете? Нет ли у Вас его списка?

Будьте осторожнее в Ваших письмах, и у меня, и у Огарева есть опыт ссылки или ареста за слишком вольные мысли, высказанные в личной переписке.

Против отсутствия «ятей» ничего не имею, орфографическую реформу поддерживаю. То, что вы не используете также «и десятиричное», является ли ее частью?

И еще одна просьба от меня и Николая Платоновича. Не могли бы Вы прислать нам Ваши песни с нотами?

Ваш А. И. Герцен».

– Никса! Я получил письмо от Герцена! – воскликнул Саша.

– Ты радуешься так, словно получил письмо от папы Римского!

– Да, какой папа Римский! Это гораздо круче. Герцен – это современный русский Вольтер.

– У тебя каждый болтун – современный русский Вольтер, – заметил Никса. – В прошлый раз ты так называл Радищева.

– У каждой эпохи свой Вольтер, – возразил Саша. – Герцен – не первый и не последний. И это политсрач! Как же я их люблю! И как я по ним соскучился! Знаешь, что такое «политсрач»?

– Политическая дискуссия?

– Молодец, Никса. Если быть совсем точным – это острая политическая дискуссия с жестким оппонентом, иногда переходящая на личности. Ну, там: «пес смрадный», «блядин пархатый», «самовластительный злодей», «узурпатор», «тиран и убийца», «кровавый ублюдок», «национал-предатель», «безродный космополит», «враг России» и так далее. Переписка Грозного с Курбским была первым зарегистрированным в русской истории политсрачем. Точнее Курбского с Грозным, ибо по инициативе первого. Это, как если бы нам первым Герцен написал.

– А он и написал. Мама в «Колоколе». До этого было еще несколько открытых писем к папá.

– Да? Дашь почитать?

– Конечно.

– Значит, у нас переписка по инициативе оппонента. Но не всегда так бывает. Не каждый политсрач затевает тот участник дискуссии, что находится в оппозиции. С лоялистами тоже бывает. Иногда политсрач заканчивается тюрьмой для одного из собеседников, особенно если второй использует троллинг.

– От слова троль?

– Да! Троллинг – это особый прием для выведения из себя оппонента. Высокое искусство заключается в том, чтобы твой корреспондент начал нести нечто явно выходящее за рамки дозволенного «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных». Вот тогда-то он и садится!

– Это такая победа в споре?

– А что скажешь: не победа? Но для нас этот метод не подходит, ибо оппонент в Лондоне. Троллинг очень хорошо работает против всяких арестованных революционеров. Например, его с успехом использовал Николай Павлович во время допросов декабристов. То есть начинаешь ты троллить заключенного – он выходит из себя, и все тебе и выкладывает. Причем без всяких лейденских банок!

– Причем здесь лейденские банки?

– Ну, право, как маленький, Никса! От лейденских банок идет электрический импульс. И, если он идет через тебя, это как бы не очень приятно.

– Ну, какие пытки, Саша! В девятнадцатом веке живем!

– И то верно. Оставим этот средневековый трэш векам двадцатому и двадцать первому.

– Ты считаешь, что пытки будут в двадцатом и двадцать первом?

– Я знаю. Ладно, мы отклонились от посвящения тебя в высокое искусство политсрача. Троллинг бывает толстый и тонкий. Толстый троллинг – это прямые оскорбления, чем унизительнее, тем лучше. Например: «Ах, ты, трусливый тщедушный дрищ, соплей убить можно, и как ты мстить собираешься? Ни на что не способен!» «Как это ни на что не способен? – отвечает собеседник. – Пойду возьму пистолет и завтра убью царя». Тут в дискуссию вмешивается Третье Отделение, и она благополучно заканчивается. Причем провокатор остается на свободе и идет троллить дальше.

– Ну, знаешь!

– Не спорю. Толстый троллинг недостоин джентльменов. Как писал князь Курбский Андрей Михайлович «интеллигентные люди не должны опускаться до непарламентских выражений». И не опустил, между прочим, в отличие от Ивана Васильевича.

– Князя тоже было в чем упрекнуть, мягко говоря.

– Я сейчас не о нем, а исключительно о стилистике их с Грозным бессмертной переписки. Так вот, для мужей благородных существует тонкий троллинг. И тут нам надо быть осторожными, потому что искусством тонкого троллинга Александр Иванович не то, что в совершенстве, но на начальном уровне вполне владеет. Так что «Уложение» 1845 года на стол, с закладками и чтобы нигде не выйти за рамки.

– Есть еще цензурные циркуляры.

– Ну, знаешь! Мы же не в журнал пишем. Если мы еще будем на цензуру оглядываться, какой уж тут политсрач!

– Со мной дискутировать, значит, уже надоело?

– Ты консерватор, Никса. Ты справа от меня, а Герцен – слева. Это совсем другой срач.

– Нашел консерватора! Тонкий троллинг это про твои взгляды?

– Про взгляды это вообще ласково, троллинг начинается с расстрела на Сенатской площади. Никса, ты знал про проруби на Неве?

– С ума сойти, Сашка! Ты чего-то не знал?

– Были проруби?

– Да, но Бестужев собрал на льду войско, чтобы идти на Петропавловскую крепость, так что по ним не просто так стреляли.

– Что бы я без тебя делал! Знаешь, политсрач хорош не только бурей эмоций и невозможностью от него оторваться. Он хорош тем, что ты учишься. Ты начинаешь рыть материал, чтобы опровергнуть оппонента. Вообще, если тебе начинают рассказывать про тысячи погибших и гробы, сложенные штабелями на стадионе, надо проверять и перепроверять. Как правило, трупов оказывается раз в десять меньше.

– Саш, были трупы. Про раненых, которых живыми опускали в проруби, для меня новость, разве что дед не знал. Но то, что стреляли картечью, а потом из орудий, и Люди пытались убежать по Невскому льду – это правда. И больше тысячи погибших – правда.

– Плохо. Тогда у нас в заглавнике одна Вандея. И это не самый изящный аргумент, потому что в стиле «сам дурак».

– Саша, 14 декабря было военное столкновение, мятежники стали отстреливаться. И до того их целый день увещевали и добром уговаривали разойтись.

– Но в основном наверняка погибли случайные люди.

– Да, как на любой войне.

– Все равно стрелять из пушек по толпе – это не комильфо.

– Дед очень это переживал, – сказал Никса. – Когда умерла его любимая дочь Адини, наша с тобой тетя, он сказал, что это божья кара. Она родилась в 1825-м и не дожила до двадцати.

– Это его не извиняет. Рылеев тоже раскаивался, однако его повесили, причем дважды.

– Он был одним из главных заговорщиков. А относительно «дважды» дедушка при этом не присутствовал. Он был в Царском Селе, и его просто не уведомили, что веревки оборвались.

– Никса, когда ты кого-нибудь соберешься вешать, ты уж при этом присутствуй.

– Не соберусь, ты меня убедил. После тех пятерых дедушка больше не казнил ни одного человека, за тридцать лет царствования. И ничего, монархия устояла.

– Зато были шпицрутены.

– Саша, ты словно становишься на позицию Герцена и обвиняешь.

– Я просто хочу понять, что мне отвечать.

– Отвечай, что шпицрутеноев больше не будет.

– На тебя сошлюсь.

– Ссылайся.

– А отчего умерла Адини?

– От чахотки.
– Понятно. Ну, с туберкулезом я еще разберусь.
И Саша сел за ответ.
«Любезный Александр Иванович!» – начал он.
– Никса, а давай эпиграф вставим?
– Какой?
– А вот какой!
И Саша написал:

«И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит;
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет...
А. К. Толстой»

– А! – сказал Никса. – Тонкий троллинг?
– Он самый.

«Спасибо огромное за ответ! – продолжил Саша. – Принять Ваше предложение о публикации я никак не могу, поскольку какой бы псевдоним я не взял, меня тут же опознают по стилю.

А менять стиль я не хочу: это кожа, а не платье.

Мнение мое об «Уложении» 1845 года остается коленопреклоненным, и Вы меня не переубедите. Тут болтают, что я отношусь к нему свысока, говоря, что это «юридический шедевр» для своего времени. Это не так. Это вообще юридический шедевр. На мой взгляд, лучший европейский кодекс первой половины 19 века.

Кодекс Наполеона прочитаю обязательно, как только мой французский будет на хорошем уровне. Пока в оригинале он мне не по зубам, а русского перевода, к сожалению, я не обнаружил.

Но я слышал, что французский кодекс значительно проигрывает нашему. В «Уложении» Николая Павловича есть и сроки давности, и понятие предварительного сговора, и преступные группы, и описание разных ролей участников преступления, и формы вины (умышленные и неумышленные преступления), и понятие неоконченного преступления, за которое наказание другое, чем за оконченное, в отличие от кодекса Наполеона. У французов даже близко ничего подобного нет.

А уж статья о необходимой обороне у Николая Павловича (ладно Второго Отделения, которое готовило «Уложение»), даст фору не только кодексам 19 века, но, думаю, что и двадцатого, и двадцать первого.

Я уж не говорю о том, что в «Уложении» 1845 года смертная казнь упоминается ровно в двух статьях: о бунте против государя и о нарушении карантинных. А в кодексе Наполеона – в нескольких десятках статей. Причем публичная.

Конечно, упомянутая 249 статья о бунте против государя резиновая, там чего только нет, но, по-моему, это такой сиюминутный трэш, принятый под впечатлением восстания на Сенатской площади.

Ужасная статья! Одна только смертная казнь за доноительство, чего стоит! Для полного счастья не хватает только дополнения под названием: «Член семьи изменника Родины».

Но, с другой стороны, она же полумертвая. Никто ее и не применяет в таком виде.

Кстати, я читал, что революционный кодекс Франции 1791 года, составленный Лепелетье, гораздо прогрессивнее кодекса Наполеона. Последний – шаг назад по сравнению с первым. Не знаю, есть ли он в нашей библиотеке. Было бы интересно почитать.

Единственное, в чем действительно можно упрекнуть «Уложение» Николая Павловича – там не прописано, что закон, ужесточающий наказание, не имеет обратной силы. Но, во-первых, мне неизвестны случаи его обратного применения, а, во-вторых, это все-таки статья для конституции, а не «Уголовного уложения».

Как соотносится кодекс Николая Павловича и мои взгляды? Примерно, как мои взгляды с Вашими, то есть существенно противоречит. Естественно, если в конституции прописана свобода вероисповедания, в уголовном кодексе не должно быть раздела о преступлениях против веры. А, если прописана свобода слова, раздел о государственных преступлениях придется серьезно переделывать.

14 декабря было военное столкновение с перестрелкой. Конечно прискорбно, что погибли случайные люди, однако при подавлении роялистского восстания в Вандее без суда и следствия были казнены до десяти тысяч человек, что несравнимо больше.

Про Нантские утопления Вам напомнить? Когда политических оппонентов (а то и случайных людей) загоняли на баржи и топили посреди Луары. А про «революционные браки»? Когда монашку и священника раздевали донага, связывали вместе спиной к спине и топили в реке.

Я где-то недавно читал такое описание социалистической утопии: свободный труд вольных хлебопашцев в составе коммунистической общины, а за околицей – постоянно действующая гильотина. В общем, логично. Без гильотины коммунистическая экономика работать не будет.

Я знаю, что Вы социалист, и здесь мы с Вами не договоримся.

Социализм плох не тем, что чем-то противоречит самодержавию. А тем, что не реализуем без массовых жесточайших репрессий против инакомыслящих. Вы где-то писали (поправьте меня, если я ошибаюсь), что для счастья человечества можно вырезать ту его половину, что не подходит для Ваших утопий. Так вот Вы половиной не отделаетесь, потому что из оставшейся половины для осуществления идеала придется вырезать еще половину, а потом еще половину, пока человечество не кончится или не свергнет, наконец, вас с Вашими теориями, и не вернет частную собственность.

Общественная собственность не работает. Где Вы видели успешную в коммерческом отношении коммуны? Приведите мне хоть один пример.

Жаль, что такой достойный человек, как Вы, вступил на этот тупиковый путь.

А вот самовластью социализм никак не противоречит. Вы удивитесь, даже наследственной монархии не противоречит никак. Ну, называться монарх будет менее старомодно. Ни король, ни царь, ни император. Например, «Любимый руководитель» или «Генеральный секретарь».

Ваш Маркс воистину гениален, потому что додумался до диктатуры пролетариата. Без диктатуры никак. Только из пролетариата быстренько выделится новая аристократия, тут же забудет, откуда произошла, и будет диктаторствовать всласть.

У Вас нет, кстати, его экономических работ? Говорят, там не один бред.

Кстати, в том, что русские революционеры, придя к власти, действовали бы точно также, как французские у меня сомнений нет никаких. Помните о планах Каховского вырезать всю царскую семью, считая женщин и младенцев? И как этот соотносится с обратной силой закона? Сегодня быть Великим князем не является уголовным преступлением, а завтра – уже да?

Революция – слишком травматичный путь преобразования общества. Как сторонник эволюции я бы предпочел до нее не доводить. Но при этом считаю, что во всех бунтах виновато правительство. Я не верю, что мятеж можно поднять на пустом месте, а повстанцев распропагандировать или подкупить. Бунт вообще тяжело поднять. Никто не пойдет на восстание, если жить в стране более или менее нормально – слишком велики издержки.

А, если пошли, значит власть довела до точки кипения. Чтобы этого не происходило, нужны предохранительные клапаны: гражданские свободы и народное представительство, через которые можно спустить пар. У меня это не от любви к людям, а от любви к социальному миру.

Относительно шпицрутен и моих взглядов. Телесные наказания – отживший институт, и я уверен, что Никсе не придется с этим возиться, потому что их отменит уже папá.

И мой брат с этим совершенно солидарен, равно как и по поводу смертной казни. Убедил, говорит.

Проигрыш в Крымской войне был прямым следствием отказа от модернизации: Россия отстала. А отказ от модернизации – прямым следствием восстания декабристов. После него трудно было идти в фарватере относительно либеральной политики Александра Павловича. Хотя к мятежу привели вовсе не реформы предшественника, а их недостаточность. Но это слишком сложная мысль. У нас любят решения простые и эффективные, как дубина.

За 30 лет не освободил крестьян? Так это же страшно! И Екатерина Великая не освободила. И Александр Павлович.

Вам из Лондона кажется, что все это поддерживают. Это не так. Есть серьезная консервативная оппозиция. Есть чисто экономические опасности, которые ждут любую страну при любой серьезной перестройке отношений собственности. Освобождение крестьян с недостаточным количеством земли и за выкуп приведет к обнищанию большей части населения, а это очень опасная ситуация для политической стабильности в стране.

Поэтому основные черты планируемой реформы мне не нравятся. Это не значит, что я против отмены крепостной зависимости. Это значит, что крестьян нужно было освободить самое позднее вчера, причем с куда большим вниманием к их интересам.

Тем не менее, человеку, который вообще на это решился, надо ставить золотой памятник при жизни.

Папá не понимает степени собственного героизма. Он прекрасный человек, но реформатор должен быть прежде всего упертым человеком. Как бык, как осел, как царь Петр Алексеевич. Реформатор должен понимать, что спасибо ему не скажут, потому что любая реформа – это тоже травма, по крайней мере, для части общества, хотя и не такая болезненная, как революция. Реформатор должен быть готов жертвовать собой и другими, и переть своим политическим курсом, как пароход, никуда не сворачивая, невзирая ни на погоду, ни на артобстрелы с берега.

Мало, кто так может.

Что касается смелости моей части переписки, думаю, у меня есть некоторый иммунитет, хотя это и неправильно. Да, все должны быть равны перед законом. Но и законов, по которым частная переписка может влечь за собой некие уголовные последствия, быть не должно.

Да, отмена «и» с точкой, которое «десятеричное» – это часть реформы. В нем тоже никакого смысла нет.

Тексты и ноты песенок, которые я пел у Елены Павловны и кадетам, прилагаю.

История харьковских студентов в вашем изложении, увы, очень похожа на правду. Конечно, всякую информацию надо проверять по нескольким источникам, но она какая-то уж очень типичная для России.

Нормальный наш произвол. Но решается системно, а не в ручном режиме: независимостью судов. Чтобы ни губернатор Лужин, ни князь Салтыков, ни им подобные не могли влиять на их решения.

Планы судебной реформы есть, насколько я знаю.

Из Лунина я цитирую «Письма из Сибири». Списка у меня нет, просто помню отдельные высказывания. Даже не знаю, к кому письмо.

Надеюсь, наша дискуссия на этом не закончится.

Тексты песен и ноты прилагаю.

Ваш Вел. кн. Александр Александрович».

Саша задумался и дописал:

«P.S. Уважаемые сотрудники Третьего отделения! Прошу заметить, что ни одну статью «Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных» данное послание ни в коей мере не нарушает. Более того, взгляды якобинца Лепелетье, автор не разделяет ни в малейшей степени».

Глава 6

Брат прочитал письмо, потом постскиптур и рассмеялся.

– Ну, насчет Лепелетье, ты лукавишь, – сказал он.

– Нисколько не лукавлю. Лепелетье голосовал за казнь короля, и именно его голос был решающим. А я, как ты знаешь, принципиальный противник смертной казни.

– Ничего себе, на кого ты ссылаешься!

– Он автор кодекса. Я же не на его электоральный выбор ссылаюсь.

– Ладно. Оставим этого достойного мужа.

– На Каховского поклеп не возводим? Или это Пестель?

– Пестель тоже, но Каховский в особенности. Так что здесь все нормально.

– Понимаешь, Никса, если один из собеседников срывается на прямую ложь, дискуссия заканчивается. Так что надо все тщательно перепроверять.

– Про «революционные браки» правда?

– Точно не известно, что такое «революционный брак» во время утоплений в Нанте, но священники там были, монахини были, и топили их совершенно реально.

– Тогда оставляем, хороший аргумент. Про то, как трудно поднять бунт, такое впечатление, что ты пробовал.

– Пробовал, но не здесь. Все равно, что из болота тащить бегемота. На себе, в одиночку.

– Боже, с кем я связался! – закатил глаза Никса.

– Ты очень правильно связался. У меня есть опыт деятельности на противоположной стороне. Причем противоположная она только потому, что мир там перевернутый. Уверяю тебя, общество надо очень сильно довести до ручки, чтобы в нем что-то вспыхнуло. Так что, если ты выходишь погулять без охраны на набережную Невы, и в тебя стреляют, значит, конкретно ты сделал что-то не так.

– Бывают, наверное, и сумасшедшие.

– Бывают. Но не надо на них все списывать.

– «Во всех бунтах виновато правительство» – это, конечно, золотыми буквами на мрамор.

– Это так, Никса. Просто запомни. Правительству надо не пережимать. Иногда бунты вспыхивают только потому, что власть пыталась довести ситуацию до собственных представлений об идеале и делала слишком много лишних движений, где лучше было просто проигнорировать.

– Давай ты это перепишешь, а оригинал я возьму себе, ибо шедевр, – сказал Никса.

Саша вздохнул и переписал.

– Интересно, поддержит ли наш собеседник совкосрач, – проговорил он.

– Что поддержит?

– Совкосрач – это особый вид политсрача, где в словесном сражении сходится социалист и антисоциалист, или коммунист и антикоммунист. «Совкосрачем» называется потому, что по одной из теорий социалистическим государством должны управлять Советы рабочих и крестьянских депутатов, и страны с такой системой правления называются «советскими». Все аргументы в совкосраче давно известны и повторяются из дискуссии в дискуссию.

– Убедить оппонента в своей правоте вообще без шансов, – продолжил Саша, – ибо социалисты так увлечены своей прекрасной мечтой, что никаких неприятных фактов не замечают вовсе. Так что совкосрач, вообще говоря, бессмыслен. Но познавателен с точки зрения изучения идеологии врага.

– Как и вообще все политсрачи, – добавил он. – Скорее всего, политические взгляды вообще определяются особенностями психологии.

– Ну, пошли к тебе! – сказал Никса.

И прихватил штатив и фотоаппарат.

Как выяснилось, Николая специально учили фотографии. Ну, модно же.

Сашина часть комнаты действительно выглядела колоритно. Когда-то давно, кажется еще в советское время, он видел спектакль про студентов, где примерно также были устроены декорации: обшарпанная стена с высоченными стопками книг, напоминающими разнонаправленные Пизанские башни.

Стена была вполне приличная, но стопки книг впечатляли и вызвали глухое бешенство Зиновьева.

Жаль, что микроскоп пришлось подарить Склифосовскому.

Никса установил штатив и громоздкий фотоаппарат и сфоткал сей натюрморт под кодовым названием «Студенческая келья Вел. Кн. Александра Александровича».

Когда фото было готово (а именно через неделю) братья приложили его к письму и запечатали столь же многослойным образом, как и предыдущее.

Первый снег выпал еще в октябре, а к середине ноября уже покрывал землю толстым слоем, так что лошади ступали осторожно и не горели желанием переходить на рысь. Последнее Сашу вполне устраивало. Он с горем пополам научился держаться в седле, но никакой аллюр быстрее шага был ему недоступен.

Зато отношения с Геей становились все лучше. Причиной того были регулярные посещения Сашей конюшни, причем всегда с морковкой. Так что Гея преисполнилась преданности к хозяину и всякий раз встречала его радостным ржанием. То есть была благополучно приручена.

А Саша оценил лошадей. Лошадь – это очень красиво.

Как писал Киплинг: «Что опьяняет сильнее вина: лошади, женщины, власть и война». Наконец-то, Саша оценил пункт первый.

С женщинами было не очень. Компания у принцев оставалась совершенно мужской.

Власть всегда была для Саши только средством для воплощения своих идей.

А война по-прежнему не прикалывала. Все-таки при всем своем антисоветизме, Саша был воспитан в СССР на лозунгах «Миру – мир!», «Мир – народам!», «Мы за мир!» и «Нет – войне!». И искренно считал войну неким коллективным сумасшествием, крайне невыгодным и разрушительным.

То есть был вполне солидарен с Герценом.

Велосипеды стали неактуальны, и Саша с Никсой путешествовали по Царскому селу верхом. Как-то еще раз навести Толстого. Обошлось без эксцессов и выяснилось, что правозащитные усилия Саши не прошли даром. Достоевскому и Дурову разрешили жить в столицах.

За последнего просила мамá.

Саша раздобыл у Алексея Константиновича еще пару переводов от Дурова, на этот раз из Виктора Гюго, которые он немного помнил из будущего. И загрузил матушку:

*Есть существа, которые от детства
Мечты свои, надежды и желанья
Кидают на ветер. Ничтожный случай
Владеет их судьбой. Они стремятся,
Куда глаза глядят, не думая о цели,
От истины не отличая лжи:
Они летят, куда подует ветер;
Гостят, где им открыта настежь дверь.
Для них вся жизнь в мгновении настоящем,
Затем, что прошлое для них погибло,*

А в будущем они читать не могут...

Оригинал ей был известен, а перевод понравился.

Саша знал, как это выжимает, как выматывает бесконечное заступничество за гонимых, особенно, когда впустую.

Но страна пока двигалась к оттепели, пространство свободы расширялось, и Сашины просьбы не оставались без ответа. В будущем бы так!

В Царском жили последние дни. В конце ноября императорская семья обычно перебиралась в Петербург – в Зимний дворец.

В середине месяца были опубликованы медицинские статьи в английских, австрийских и французских изданиях. И Саша радостно поздравил свою команду, отправив телеграммы Склифосовскому в Москву и остальным – в Петергофскую лабораторию.

Еще одним событием ноября явилось то, что Саша дорешал, наконец, задачи Остроградского и отправил академику. Честно говоря, с последней «неберучкой» учитель математики Сухонин слегка помог. Зато оценил знания ученика и согласился с тем, что в январе Саша сдаст арифметику экстерном.

Но что-то было не так.

Это чувство возникло у него дней через десять после публикации.

Они собрались в Петербург, сели в экипажи. Добрались до Зимнего. Дворцовая площадь была припорошена снегом, но светило низкое ноябрьское солнце, белесое небо отражалось в водах еще не замерзшей Невы, окрашивая голубым влажную брусчатку, и народ встречал на улицах криками «Ура!» и бежал вослед.

Это было ново, и нельзя сказать, чтобы неприятно, но Саша приказал себе не обольщаться. Если кому и были адресованы эти восторги, то папá, а никак не царским детям.

Саша вспомнил историю одного африканского тирана. Народ боготворил его так, что целовал пыль дороги, по которой он проехал. А потом вскрылась истина, и люди стали плевать ему вслед. И случилась эта перемена что-то недели за две.

Так что любовь народная – она такая. Главное, чтобы правда ничего не меняла.

Никса молчал большую часть дороги. Что было странно. И папá молчал, даже не спрашивал про учебу, и мамá отводила глаза. Медная какая-то тишина.

В Зимнем Никса жил в детской вместе с братьями. Счастью этому оставалось меньше года: к совершеннолетию для него уже готовили комнаты в фаворитском корпусе, где когда-то обитал граф Орлов.

Так что с одной стороны, брата было поймать легче, с другой – труднее поймать одного. Но он сам облегчил задачу.

– Саш, ты помнишь нашу корабельную? – спросил он.

– Нет.

– Пошли.

Море, сражения и военные советы на картинах, пейзажи даже на створках белых дверей. Стойка с ружьями всех видов с направленными в потолок штыками, модели пушек за стеклами шкафов, морские приборы, из которых Саша уверенно опознал секстант и барометр.

А также: шведская стенка, брусья. Канат и веревочная лестница, свисающие с потолка, чучело белого медведя и рояль.

Помесь военного музея, спортивного зала и учебного класса.

Название комнате дала огромная, метров в пять высотой, модель корабля с двумя мачтами и снастями.

– Здорово! – оценил Саша.

– Здесь дядя Костя учился морскому делу, – пояснил Никса.

Они сели на палубе.

– Никса, что у вас за заговор молчания? – спросил Саша. – Что случилось?

– Я знал, что ты спросишь, – сказал Никса.

И вытащил из-за пазухи целый ворох газет и пару журналов.

– Папá не хотел тебе говорить, но мне кажется, что ты должен знать.

Знаменитый «The Lancet» был оформлен довольно скромно: просто черное печатное название на белой странице, адрес в Лондоне и год. Не очень толстое издание: страниц двадцать.

Саша залез в оглавление и сразу понял, о чем речь. Автором заметки был некий Уильям Фарр, а называлась она «Русские эпигоны Джона Сноу».

«В начале ноября в «Британском медицинском журнале» появилась статья трех русских авторов: Пирогова, Склифосовского и некоего третьего, скрывающегося под псевдонимом «А.А.», про которого ходит слух, что это увлекающийся медициной второй сын русского императора Александра Второго. Авторы пытаются воскресить полузабытую лженаучную теорию о болезнетворности бактерий, которой придерживался наш известный врач и исследователь холеры Джон Сноу. Он умер этим летом, не дожив до пятидесяти лет, несмотря на то, что всю жизнь строил на основе своих теорий и никогда не пил некипяченой воды.

Напомню, что доктор Сноу не разделял теории миазмов и связывал распространение холеры не с плохим воздухом, а с зараженной водой. Его первое эссе «О способе передачи холеры» было напечатано еще в 1849 году. И дополнено им в 1855-м, после его исследования вспышки холеры в Сохо, в 1854 году.

Тогда, поговорив с местными жителями Сноу определил, что источник заражения – общественный водопроводный насос на Брод-стрит и убедил местный совет отключить насос, сняв его рукоятку.

Однако проведенное Сноу химическое и микроскопическое исследование образца воды из насоса не доказало его опасность. После отключения насоса заболеваемость действительно пошла на спад, но сам доктор признавал, что смертность могла снизиться из-за бегства населения после вспышки, поскольку заражения пошли на спад еще до отключения насоса.

Здесь я бы хотел отметить, насколько уровень исследования Сноу выше, чем у русской статьи. Сноу не только опросил население, но и составил точечную карту заражений и использовал статистические данные, чтобы проиллюстрировать связь между качеством источника воды и случаями заболевания холерой.

Несмотря на это, Сноу не удалось убедить коллег в орально-фекальном способе передачи болезни, и миазмическая теория осталась господствующей в научном сообществе, хотя, видимо, вода сыграла определенную роль в распространении эпидемии.

И теперь, после тщательного расследования мы не видим причин для принятия этой веры. Мы не считаем установленным, что вода была загрязнена, и перед нами нет достаточных доказательств того, пострадали ли жители этого района пропорционально больше, чем те, которые пили из других источников.

Как писал другой наш знаменитый врач Томас Саутвуд Смит, который провел много лет, сравнивая теорию миазмов с инфекционизмом: «Предполагать, что болезни распространяются через прикосновение, будь то к человеку или зараженному предмету, и упускать из виду загрязнение воздуха – это только увеличивать реальную опасность от воздействия вредных испарений и отвлекать внимание от истинных средств лечения и профилактики».

Идея "заражения", объясняющая распространение болезней, по-видимому, была принята в то время, когда из-за пренебрежения санитарными условиями эпидемии поражали целые массы людей, но теперь, когда санитарные меры показали эффективность, возвращение к вере в микробов по меньшей мере абсурдно и не удивительно, что к этим антинаучным представлениям нас пытаются вернуть представители страны, не внесшей в развитие медицины никакого существенного вклада.

Их аргументы просто смешны. Статья бездоказательна и антинаучна, как по форме, так и по содержанию. Они увидели некие «палочки», которые не смогли сфотографировать, а только зарисовать, потому что едва смогли их рассмотреть. Зато сразу прокричали об этом.

Крайне низкий уровень исследования у них сочетается с глупейшим тщеславием и желанием ниспровергать общепризнанные научные теории, имея на руках только эти рисунки, которые, думаю, вряд ли кому-то удастся воспроизвести.

А юному сыну русского царя остается только посоветовать сначала поучиться, а потом уже наставлять серьезных исследователей, которые не могут ему возразить в силу его положения в обществе».

– И что? – спросил Саша. – Нормальная научная дискуссия.

Никса возвел глаза к вершине корабельной мачты.

– Обычная дискуссия? Да?

– По поводу слабого обоснования наезд отчасти по делу. Мало у нас доказательств, чего уж!

– Понимаю, для тебя важен был приоритет.

– Ни в коей мере! Мне вообще пофиг на приоритет. Да, мне надо было прокричать, мне надо было это вбросить, чтобы они начали проверять. Мне вообще пофиг, кто первый выделит туберкулезную палочку и получит лекарство. Мне надо только, чтобы оно было получено. Неважно кем! Чахотка, Никса, – слишком старый и, к сожалению, успешный враг человечества, чтобы с них мог справиться один врач, одна команда или даже одна страна. Мне надо было поднять всех. И, кажется, начинает получаться.

– Саш, у Фарра еще ласково. Ты остальное посмотри.

Из остального была французская медицинская газета со статьей примерно в том же духе, с теми же упреками в антинаучности и слабой обоснованности исследования.

– Ну, и что? – сказал Саша. – Тоже самое.

– Там еще есть немецкий вариант, – заметил Никса.

– Ну, это уж ты мне перескажи, я пас.

В немецкоязычном журнале Саша понял только название «Архив патологии, анатомии, физиологии и клинической медицины». Зато имя очередного критика ему было знакомо: Рудольф Вирхов. Вроде как, основатель клеточной теории и кумир Сашиной врачебной команды: что московской ее части, что питерской.

– И что пишет уважаемый профессор Вирхов? – поинтересовался Саша.

– Что все болезни связаны с патологией клеток и мифические болезнетворные бактерии здесь ни при чем.

– А с чем связана патология клеток?

Никса пожал плечами.

– Во всем есть положительные моменты, – заметил Саша. – Такой человек нас заметил! Брат вздохнул.

– Я сначала не хотел тебе показывать, но видно ты железный.

И он вынул из кармана несколько цветных картинок и протянул Саше.

Это были карикатуры.

Саша сразу узнал себя. Тело у него было маленькое, огромную голову украшали длинные ослиные уши, а нос кнопкой был вздернут прямо как на изображениях Павла Петровича. Вместо рук имелись медвежьи лапы, из которых на пол падал микроскоп. Ноги тоже были медвежьи и выглядывали из-под довольно реалистичной гусарской курточки.

Это была хваленая лондонская «Таймс». Два других издания помельче явно эпигонствовали и ничего нового не придумали: те же интерпретации на тему микроскопа, медведя и осла.

Саша усмехнулся.

– Ну, что ж, надо заметить, что ребята изучили материал и даже где-то добыли портрет прадедушки.

– Как ты так можешь! – поразился Никса.

– А ты собирался меня из петли вытаскивать?

– Честно говоря... да. Но ты совсем не похож! Сашка, ты ужасно обаятельный и живой. Они ничего не понимают! И нос у тебя не такой совсем.

– Узнал, значит, похож, – сказал Саша. – Но главное, что я не сижу в ванной из крови, не пью вино из черепа и не проворачиваю в мясорубку покорный народ. А это – ерунда! Я же знаю, кто из нас осёл!

– Мне бы твою уверенность, – вздохнул Никса.

– Герцен уже высказался?

– Нет.

– Художника хорошего не нашел, – предположил Саша. – А то бы, как русский человек, придумал что-нибудь поинтереснее расхожих стереотипов.

– «Колокол» новый еще не выходил.

– А! Значит, ждем. Папá очень бесится?

– Саш, ты несправедлив, он хотел тебя оградить от этого.

– Он со мной не разговаривает. Конечно, глумятся в основном надо мной, но и его имя полоскают. Правда, вскользь. А тебе спасибо! Я не младенец и не смертельно больной, чтобы ограждать меня от правды.

– Запомню, – сказал Никса. – И ты меня не ограждай.

Было раннее утро, по небу неслись серые тучи. В комнате на столе оплыли свечи, стояла чернильница с пером и лежал купленный вчера пистолет.

Николай Васильевич подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу. Он снимал две комнаты на втором этаже деревянного дома в Богословском переулке. Здесь между Большой и Малой Бронными и Палашевскими переулками располагался московский студенческий квартал.

Казалось, судьба улыбнулась Склифосовскому. Покровительство великой княгини Елены Павловны, знакомство с великим князем, лаборатория, переписка с этим мальчиком.

Он тщательно хранил его странные письма. Очень любезные вначале, ласковые в конце и совершенно не детские по содержанию. В них не было ни капли надменности, уж скорее пиетет к более опытному коллеге: деловая переписка равных.

Первые три курса Склифосовский жил на стипендию от Одесского приказа общественного призрения. Ее худо-бедно хватало на скромное существование: он тогда делил маленькую комнатку с еще тремя однокашниками, и вместо чая они заваривали цикорий, а вещи, за недостатком места, хранили в корзинах под кроватями.

Он подрабатывал уроками, так что постепенно завелись деньги, а лаборатория и вовсе позволила снять две комнаты (для жизни и для опытов), и он с товарищами вскладчину нанял кухарку и перешел на настоящий чай.

Но фортуна оказалась дамой ветряной и холодной.

Вал публикаций его, конечно, обрадовал.

Пришло поздравление от Александра Александровича.

А потом был разнос в «Ланцете». Но ничего, он стерпел. Потом раскритиковали французы. Он набрал в грудь побольше воздуха и сжал губы. Потом Вирхов... Это было больно, но пришло утешительное письмо от Пирогова. «Гении и знаменитости тоже не всегда правы, – писал великий хирург. – Это не последние наши статьи, учтем замечания, и они еще согласятся с нами».

Но ни одного слова поддержки от великого князя. Ни одного!

Это было совсем непохоже на тот образ, который Склифосовский себе выдумал. Юный князь – мальчик добрый и очень чуткий. Он просто не мог не написать!

А потом эти карикатуры.

И кто кого должен утешать? Александру Александровичу нет еще и четырнадцати, над ним издевается пол-Европы, невзирая на возраст, а ты взрослый обормот еще требуешь к себе сочувствия?

И он сел за письмо к великому князю, но закончить не успел, потому что его вызвали в деканат.

С деканом Николаем Богдановичем Анке отношения у Склифосовского были почти прекрасными. Николай Богданович когда-то входил в число врачей, которые пытались справиться с холерой в Риге в начале тридцатых, потом вышло его исследование холеры, напечатанное в протоколах рижского медицинского общества.

Николай Васильевич посещал его лекции по токсикологии. Они вообще пользовались популярностью у студентов за живость изложения и наглядность.

После публикаций Анке подозвал Склифосовского к себе и заметил, что статьи любопытные, хотя и не очень доказательные.

Но на этот раз декана на месте не оказалось. Николая Васильевича встретил секретарь. И вручил ему бумагу, которую в университете называли «consilium abeundi» – «совет удалиться». С запретом на восстановление в университете и требование покинуть Москву в течение суток.

– Но... – сказал Склифосовский, вопросительно глядя на секретаря декана.

Такое предписание можно было получить за злостное пьянство, дуэль, воровство или подделку документов. Никогда, никак, ничего подобного! Он всегда был одним из лучших студентов.

– Воля государя, – вздохнул секретарь и отвел глаза.

Да, при Николае Павловиче можно было вылететь и за политическую неблагонадежность. На подобных делах сам покойный государь оставлял резолюции.

Но не при Александре Николаевиче! Да и какая неблагонадежность! «Колокол» читал – да. Но кто ж его не читал!

– Это связано с вашими статьями, – глядя в стол, пояснил секретарь.

Ну, конечно!

Только вина-то в чем? Недостаточная обоснованность научных выводов? За это исключать?

Да, не было бы статей – не было бы и карикатур на великого князя. Но не Склифосовский же их рисовал!

Он пошел, куда глаза глядят. Было холодно, лужи подернулись тонким ледком, отражавшем серое небо. Шел пар изо рта.

Вскоре он обнаружил себя на Большой Лубянке возле магазина «Все для охоты и путешествий». Не случайно обнаружил, конечно.

Сколько он скитался по этим улицам!

В Татьянин день толпы студентов гуляли по Москве до поздней ночи, ездили, обнявшись, втроем, вчетвером, на одном извозчике. Толпами вываливались из Университета на Большую Никитскую и, с пением «Gaudeamus» шли к Никитским воротам и Тверскому бульвару, оседая в местных ресторациях, чайных и пивных.

Оставить все это? Вернуться в теплую Одессу, где окончил гимназию.

Ни с чем вернуться? Изгнанным и опозоренным?

И он толкнул дверь в оружейную лавку.

Хозяин пытался соблазнить его кольтами и лефосе, но было бы на что деньги тратить! И он купил тульский капсюльный пистолет за три целковых.

Склифосовский вернулся домой и сел за начатое письмо.

Но текст не шел, слова казались глупыми и неуместными, и он ограничился короткой запиской:

«Ваше Императорское Высочество, Александр Александрович!

Мне предписано государем оставить университет и покинуть Москву. Безусловно, я не должен был публиковать результаты, недостаточно проверенные и обоснованные. Простите, это моя вина.

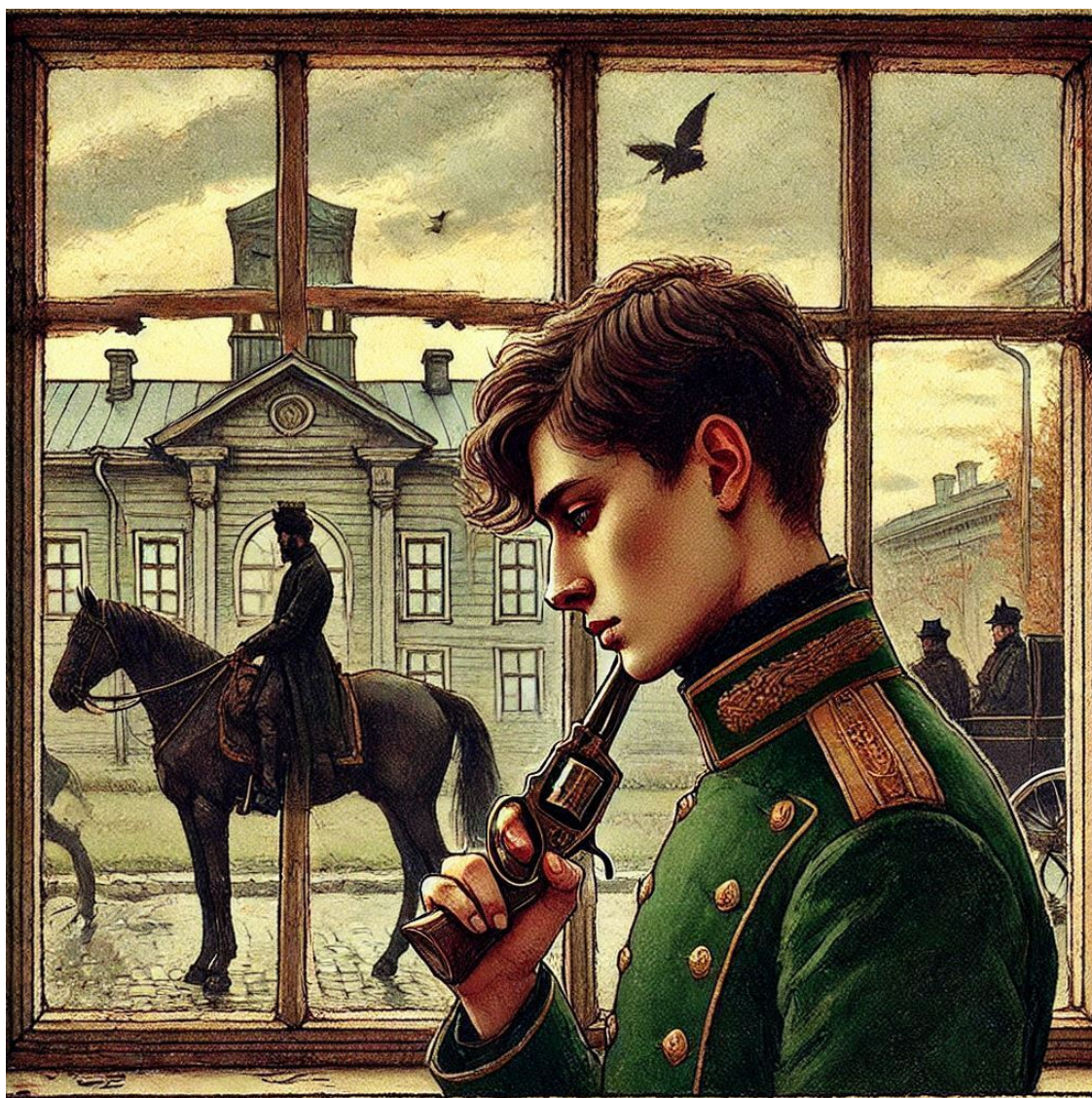
Ваш Николай Склифосовский».

Он дошел до почты, еще закрытой по причине раннего утра, и опустил письмо в темно-зеленый почтовый ящик у дверей.

Вернулся, зарядил пистолет и встал к окну. Оно выходило на немощеную улицу, которую развезло по осени. Только сейчас чуть подморозило коричневую грязь.

Там было холодно и пусто.

Он поднял пистолет и приставил его к виску.



Глава 7

Ночью Саша не спал. Это он за полвека отрастил воловью шкуру, и ему можно хоть матом отзывать писать. А они – его медицинская команда – дети двадцатилетние!

Склифосовский казался покрепче и выглядел взрослее, чем однокурсники его Анюты, там, в будущем. Все-таки Николай Васильевич из приюта и судьба его не баловала. Но кто его знает, какая там тонкая душевная организация!

Было около шести утра, когда Саша выстроил план действий и разбудил Гогеля.

– Григорий Федорович, я дико извиняюсь, но мне срочно нужен телеграф.

Гувернер встретился с ним взглядом и даже ничего не спросил.

– Здесь телеграфная станция в нижнем этаже, – сказал Гогель. – Пойдемте!

– А они сейчас работают? – засомневался Саша.

– Это дворцовая станция, – кивнул гувернер. – Там круглосуточный караул.

Они спустились вниз, унтер-офицер посмотрел на великого князя и генерала и пропустил без вопросов.

Саша сочинил две коротких телеграммы и сдал телеграфисту.

Тот прочитал, посмотрел с некоторым недоумением, но кивнул и сел к аппарату.

Склифосовского отвлекли звуки из соседней комнаты, где располагалась лаборатория и стояла клетка с морскими свинками. Накануне вечером он практически забыл про них, не до того было.

Он положил пистолет на подоконник и зашел в лабораторию.

Одна из свинок забилась в угол, тяжело дышала и кашляла. Капустные листья, петрушка и кусочки морковки на подстилке казались нетронутыми, зато была выпита вся вода. Существо подняло на хозяина бусинки черных глаз и посмотрело совершенно осмысленно и умоляюще.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.